

Эдвард Бульвер-Литтон

Король англосаксов



Эдвард Бульвер-Литтон

Король англосаксов

«Public Domain»

1848

Бульвер-Литтон Э. Д.

Король англосаксов / Э. Д. Бульвер-Литтон — «Public Domain»,
1848

«Май 1052 года отличался хорошей погодой. Немногие юноши и девушки проспали утро первого дня этого месяца: еще задолго до восхода солнца кинулись они в луга и леса, чтобы нарвать цветов и нарубить березок. В то время возле деревни Шеринг и за торнейским островом (на котором только что строился вестминстерский дворец) находилось много сочных лугов, а по сторонам большой кентской дороги, над рвами, прорезавшими эту местность во всех направлениях, шумели густые леса, которые в этот день оглашались звуками рожков и флейт, смехом, песнями и треском падавших под ударами топора молодых берез. Сколько прелестных лиц наклонялось в это утро к свежей зеленой траве, чтобы умыться майскою росой. Нагрузив телеги своею добычею и украсив рога волов, запряженных вместо лошадей, цветочными гирляндами, громадная процессия направилась обратно в город...»

Содержание

Часть первая	6
Глава I	6
Глава II	14
Глава III	17
Глава IV	19
Глава V	21
Часть вторая	23
Глава I	23
Глава II	29
Глава III	34
Часть третья	37
Глава I	37
Глава II	38
Глава III	48
Глава IV	53
Глава V	56
Часть четвертая	58
Глава I	58
Глава II	61
Глава III	64
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Эдвард Бульвер-Литтон

Король англосаксов

Harold, the Last of the Saxons, 1848

Первое издание: Москва, типография Е. И. Погодиной, Софийская набережная, до Котельниковой, 1878.

* * *

Часть первая

Норманнский гость, саксонский король и датская пророчица

Глава I

Май 1052 года отличался хорошей погодой. Немногие юноши и девушки проспали утро первого дня этого месяца: еще задолго до восхода солнца кинулись они в луга и леса, чтобы нарвать цветов и нарубить березок. В то время возле деревни Шеринг и за торнейским островом (на котором только что строился вестминстерский дворец) находилось много сочных лугов, а по сторонам большой кентской дороги, над рвами, прорезавшими эту местность во всех направлениях, шумели густые леса, которые в этот день оглашались звуками рожков и флейт, смехом, песнями и треском падавших под ударами топора молодых берез.

Сколько прелестных лиц наклонялось в это утро к свежей зеленой траве, чтобы умыться майскою росой. Нагрузив телеги своею добычею и украсив рога волов, запряженных вместо лошадей, цветочными гирляндами, громадная процессия направилась обратно в город.

Предшественники царствовавшего в это время короля-монаха нередко участвовали в этой процессии, совершавшейся ежегодно первого мая, но этот добрый государь терпеть не мог подобных увеселений, отдававших язычеством, и никогда не присутствовал на них, что, однако, не вызывало ни в ком сожаления.

Возле кентской дороги возвышалось большое здание, прежде принадлежавшее какому-то утопавшему в роскоши римлянину, но теперь приходившее в упадок. Молодежь не любила этого места и, проходя мимо него, творила робкою рукою крестное знамение, так как в этом доме жила знаменитая Хильда, которая, как гласила народная молва, занималась колдовством. Но суеверный ужас скоро уступил место прежнему веселью, и процессия благополучно достигла Лондона, где молодые люди ставили пред каждым домом березки, украшали все окна и двери гирляндами и затем снова предавались веселью вплоть до темной ночи.

Еще на другой день были заметны следы этого празднества: повсюду лежали увядшие цветы и облетевшие листья, между тем как воздух был наполнен каким-то особенным ароматом, занесенным из лесов и с лугов.

Вот, в этот-то второй день мая 1052 года, я и желаю ввести благосклонного читателя в жилище Хильды. Оно стояло на небольшом возвышении и, несмотря на свое полуразрушенное состояние, носило на себе отпечаток прежнего величия, что составляло резкий контраст с грубыми домами саксонцев.

Хотя римские виллы были во множестве разбросаны по Англии, но саксонцы никогда не пользовались ими; наши суровые предки были более склонны разрушать несоответствовавшее их привычкам, чем приравниваться к нему. Не могу объяснить, по какому случаю описываемая мною вилла сделалась исключением из общего правила, но знаю на верное, что она была обитаема многими поколениями тевтонского происхождения.

Грустно было смотреть, как изменилось это здание, которое было вначале таким изящным! Прежний атриум (передний крытый двор) был превращен в сени. На тех колоннах, которые были прежде постоянно обвиты цветами, красовались теперь: круглый, с горбом посредине, щит саксонца, меч, дротики и маленький кривой палаш. Посреди пола, утопанного известкою и глиною, сквозь которую еще проглядывали местами остатки великолепной мозаики, был устроен очаг, а дым выходил на волю через отверстие, сделанное в крыше, которое прежде служило для пропуска дождя. Прежние маленькие спальни для прислуги, по бокам

атриума, были оставлены в первоначальном виде, но то место в конце его, в котором когда-то находились хорошенькие кельи, из которых смотрели в таблиниум (парадная гостиная) и вири-дариум (открытая галерея), было завалено обломками кирпичей, бревнами и т. п., так что осталась свободно лишь небольшая дверь, которая вела в таблиниум. Эта комната тоже была теперь чем-то вроде сарая, куда складывался всякий хлам. С одной стороны её находился ларариум (комната домашнего пената), а с другой – гиняцеум (комната женщин). Ларариум служил, очевидно, гостиною какому-нибудь саксонскому тану, потому что там и сям были набросаны неумелой рукой фигуры, имевшие претензию представлять белого коня Генгиста и черного ворона Водена. Потолок, с изображениями играющих амуров, был исписан рунами, а над старинным креслом, причудливой формы, висели волчьи головы, сильно испорченные молью и всеокрушающим влиянием времени.

Эти комнаты, которые сообщались с перистилем и галереею, защищались окнами. В окно ларариума было вставлено тусклое серое стекло, а окно гиняцеума просто было заделано плохой деревянной решеткой.

Одна сторона громадного перистилия была превращена в хлева, на другой же стояла христианская часовня, сложенная из необтесанных дубовых бревен и покрытая тростником. Наружная стена почти совершенно развалилась, открывая вид на соседний холм, обрывы которого были покрыты кустарником.

На этом холме виднелись обломки кромлеха (друидского жертвенника), посреди которых стоял, возле входа в склеп какого-то саксонского вождя, жертвенник тевтонца, что можно было заключить по рельефному изображению Тора с поднятым молотком в руках и древним письменам. Нельзя же было саксонцу не воздвигнуть жертвенника своему торжествующему богу войны на том месте, где прежде бретонец совершал поклонения своему божеству.

Снаружи разрушенной стены перистилия находился римский колодец, а неподалеку от него стоял маленький храм Бахуса. Таким образом, взор сразу охватывал памятники четырех различных вероисповеданий: друидского, римского, тевтонского и христианского.

По перистилию беспрепятственно двигались взад и вперед рабы и целые стада свиней, а в атриуме находились люди из высших сословий. Они были полувооружены и проводили время каждый по-своему. Некоторые пили, другие играли в кости, занимались своими громадными собаками или соколами, важно и чинно сидевшими на шестах.

Ларариум был забыт всеми, но женская комната не изменила своего характера. Мы сейчас же познакомим читателя с находившейся в ней группой.

Обстановка этой комнаты свидетельствовала о знатном происхождении ее владелицы. Нужно заметить, что богатые люди предавались в то время гораздо больше роскоши в своей домашней жизни, чем вообще можно было предположить. Стены этого покоя были покрыты дорогой шелковой тканью, вышитой серебром; на буфете стояли туры рога, оправленные в золото. Посередине комнаты стоял небольшой круглый стол, поддерживавшийся какими-то странными, символическими чудовищами, вырезанными из дерева. Вдоль одной из стен сидели за прялками полдюжины девушек; невдалеке от них, у окна, находилась пожилая женщина с величественной осанкой. Пред нею стоял маленький треножник, на котором виднелись рунная рукопись, чернильница изящной формы и перо с серебряной ручкой. У ног ее сидела молодая, шестнадцатилетняя девушка, с длинными волосами, вьющимися по плечам. Она была одета в снежно-белую полотняную тунику с длинными рукавами и высоким воротом, отделанную роскошной вышивкой. Талия перехватывалась простым кушаком. Этот костюм вполне обрисовывал стройную, прелестную фигуру молодой девушки.

Красота этого молодого создания была поразительна: недаром ее прозвали прекрасной в этой стране, которая так изобиловала красивыми женщинами. В лице ее выражались благородство и беспредельная кротость. Голубые глаза ее, казавшиеся почти черными от длинных

ресниц, были пристально устремлены на строгое лицо, наклонившееся над нею с тем рассеянным видом, который свидетельствует, что мысль чем-то сильно занята.

В такой-то позе сидела Хильда, язычница, и ее внучка Юдифь, христианка.

– Бабушка, – проговорила молодая девушка тихо, после длинной паузы, причем звук ее голоса до того испугал служанок, что они все сразу оставили свою работу, но потом снова принялись за нее с удвоенным вниманием, бабушка, что тревожит тебя? Не думаешь ли ты о великом графе и его прекрасных сыновьях, сосланных за море?

Когда Юдифь заговорила, Хильда как будто пробудилась от сна, а выслушав вопрос, она понемногу выпрямила свой стан, еще не согнувшийся под бременем лет.

Взор ее отвернулся от внучки и остановился на молчаливых служанках, занимавшихся своим делом с величайшим прилежанием.

– Га?! – воскликнула она, между тем как холодный надменный взгляд ее загорелся мрачным огнем. – Вчера молодежь праздновала лето, а сегодня вы должны стараться возвратить зиму. Тките как можно лучше; смотрите, чтобы основа и уток были прочны. Скульда [*судьба*] находится между вами и будет управлять челноком.

Девушки сильно побледнели, но не посмели взглянуть на свою госпожу. Веретена жужжали, нитки вытягивались все длиннее и длиннее, и снова наступило прежнее гробовое молчание.

– Ты спрашиваешь, – обратилась Хильда, наконец, к внучке, – ты спрашиваешь: думаю ли я о графе и его сыновьях? Да, я слышала, как кузнец ковал оружие на наковальне и как корабельный мастер сколачивал молотками крепкий остов корабля. Прежде чем наступит осень, граф Годвин выгонит норманнов из палат короля-монаха, выгонит их, как сокол выгоняет голубей из голубятни... Тките лучше, прилежные девушки! Обращайте больше внимания на основу и уток! Пусть ткань будет крепкой, потому что червь гложет беспощадно!..

– Что это они будут ткать, милая бабушка? – спросила Юдифь, в кротких глазах которой изобразились изумление и робость.

– Саван Великого...

Уста Хильды крепко сомкнулись, но взор ее, теперь горевший больше прежнего, устремился вдаль, и белая рука ее как будто чертила по воздуху какие-то непонятные знаки. Затем она медленно обернулась к окну.

– Подайте мне покрывало и посох! – приказала она внезапно.

Служанки мигом вскочили со своих мест: они были от души рады, что представлялся случай оставить хоть на минуту работу, которая, конечно, не могла нравиться им, как только они узнали ее назначение.

Не обращая внимания на множество рук, спешивших услужить ей, Хильда взяла покрывало, надела его и пошла в сени, а оттуда в таблиниум и затем в перистиль, опираясь на длинный посох, наконечник которого представлял ворона, вырезанного из черного выкрашенного дерева. В перистиле она остановилась и, после непродолжительного раздумья, позвала свою внучку. Юдифь недолго заставила себя ждать.

– Иди со мной! Есть одно лицо, которое ты должна видеть всего два раза в жизни: сегодня...

Хильда замолчала; видно было, как выражение ее сурово-величавого лица мало-помалу смягчалось.

– И когда еще, бабушка?

– Дитя, дай мне свою маленькую ручку... Вот так!.. Лицо омрачается при взгляде на него... Ты спрашиваешь, Юдифь, когда еще его увидишь? Ах, я сама не знаю этого!

Разговаривая таким образом, Хильда тихими шагами прошла мимо римского колодца и языческого храма и поднялась на холм. Тут она осторожно опустилась на траву, спиной к кромлеху и тевтонскому жертвеннику.

Вблизи росли подснежники и колокольчики, которые Юдифь начала рвать и плести из них венки, напевая при этом мелодичную песенку, слова и напев которой доказывали ее происхождение из датских баллад, отличавшихся от искусственной поэзии саксонцев своею простотой. Вот, вольный перевод ее:

«Весело поет соловей
В веселом мае;
Слух мой пленен соловьем,
Но сердце ни при чем.
Весело улыбается дерево
Зеленеющею веткой;
Глаза мои любят зеленую,
Но сердце ни при чем.
Мой май не весной,
Когда цветы цветут и птицы поют:
Мой май – тот был зимой,
Когда со мной милый сидел!»

Не допела еще Юдифь последнюю строфу, как послышались звуки множества труб, рожков и других употребительных в то время духовых инструментов. Вслед за тем из-за ближайших деревьев показалась блестящая кавалькада.

Впереди выступали два знаменосца; на одном из знамен были изображены крест и пять молотов – символы короля Эдуарда, после прозванного исповедником, а на другом был виден широкий крест с иззубренными краями.

Юдифь оставила свой венок, чтобы лучше взглянуть на приближающихся. Первое знамя было ей хорошо знакомо, но второе она видела в первый раз. Привыкнув постоянно видеть возле знамени короля знамя графа Годвина, она почти сердито проговорила:

– Милая бабушка, кто это осмеливается выставлять свое знамя на месте, где должно развеваться знамя Годвина?

– Молчи и гляди! – ответила Хильда коротко. За знаменосцами показались два всадника, резко отличавшиеся друг от друга осанкой, лицами и летами; оба держали в руках по соколу. Один из этих господ ехал на молочно-белом коне, попона и сбруя которого блистала золотом и драгоценными нешлифованными камнями. Дряхлость сказывалась в каждом движении этого всадника, хотя ему было не более шестидесяти лет. Лицо его было изборождено глубокими морщинами и из-под берета, похожего на шотландский, ниспадали длинные белые волосы, смешиваясь с большой клинообразной бородой, но щеки его были еще румяны и, вообще, лицо – замечательно свежо. Он видимо предпочитал белый цвет всем остальным цветам, потому что верхняя туника, застегивавшаяся на плечах широкими драгоценными пряжками, была белая, также как и шерстяное исподнее платье, обтягивавшее его худые ноги, и – плащ, обшитый широкой каймой из красного бархата и золота.

– Король! – прошептала Юдифь и, сойдя с холма, остановилась у подножия его с глубокой почтительностью. Скрестив на груди руки, стояла она, совершенно забыв, что она без покрывала и плаща, а выходить без них считалось крайне неприличным.

– Благородный сэръ и брат мой, – произнес по-романски звучный голос спутника короля, – я слышал, что в твоих прекрасных владениях находится много этого народца, о котором наши соседи, бретонцы, так много рассказывают нам чудесного, и если бы я не ехал с человеком, к которому не смеет приблизиться ни одно некрещеное существо, то сказал бы, что там, у холма, стоит одна из местных прелестных фей.

Король Эдуард взглянул по направлению, указанному рукой говорившего, и спокойное лицо его слегка нахмурилось, когда он увидел неподвижную фигуру Юдифи, длинные золотистые волосы которой развевались теплым майским ветерком. Он придержал коня, бормоча латинскую молитву, по окончании ее спутник его обнажил голову и произнес слово «аминь» таким благоговейным тоном, что Эдуард наградил его слабой улыбкой, причем нежно сказал: «Vene, bene, Piosissime!».

После этого он знаком подозвал к себе молодую девушку. Юдифь вспыхнула, но послушно подошла к нему.

Знаменосцы остановились, так же как и король со своим спутником и вся остальная свита, состоявшая из тридцати рыцарей, двух епископов, восьми аббатов и нескольких слуг. Все ехали на прекрасных конях и были одеты в норманнский костюм. Несколько собак отделились от своры и рыскали вдоль опушки леса.

– Юдифь, дитя мое! – начал Эдуард романским языком, так как он не очень хорошо изъяснялся по-английски, а романское – норманнско-французское – наречие, сделавшись языком придворных со времени восшествия на престол, было чрезвычайно распространено между всеми классами. – Юдифь, дитя мое, я надеюсь, что ты не забыла моих наставлений: усердно поешь гимны и носишь на груди ладанку со святыми мощами, подаренными тебе мной?

Девушка молча наклонила голову.

– Каким это образом, – продолжал король, напрасно стараясь придать своему голосу строгое выражение, – ты малютка... как это ты, мысли которой уже должны бы стремиться единственно к Пресвятой Деве Марии, можешь стоять одна и без покрывала на дороге, подвергаясь нескромным взглядам всех мужчин!. Поди ты, это не хорошо! [*Любимая поговорка короля Эдуарда*]

Упрек этот, высказанный при таком большом обществе, смутил еще более Юдифь. Грудь ее высоко вздымалась, но с несвойственным ее летам усилием она удержала слезы, душившие ее, и кратко ответила:

– Моя бабушка, Хильда, велела мне следовать за нею, и я пошла.

– Хильда?! – воскликнул король с притворным изумлением. – Но я не вижу с тобой Хильды... ее здесь вовсе нет.

При последних словах его Хильда встала: высокая фигура ее показалась так внезапно на вершине холма, что можно было подумать, не выросла ли она из земли.

Она подошла легкой поступью к внучке и поклонилась надменно королю.

– Я здесь! – произнесла она совершенно спокойно. – Чего хочет король от своей слуги Хильды?

– Ничего! – отвечал торопливо монарх, и лицо его выразило смущение и боязнь, – я хотел попросить тебя держать это молоденькое, прелестное создание в тиши уединения, совершенно согласно с его предназначением отказаться от света и посвятить себя безраздельно служению высшему существу.

– Не тебе говорить бы эти слова, король! – воскликнула пророчица, – не сыну Этельреда, сына Ведена! Последний представитель славного рода Пенда обязан жить и действовать; он не имеет права закабалить себя в монастырскую келью; нет, его долг воспитывать храбрых, доблестных воинов; в них всегда ощущается громадный недостаток, и пока чужестранцы не уйдут до единого из саксонских владений, нужно беречь от гибели и малейший отросток на дереве Ведена.

– «Per la resplender De»?! Ты чересчур отважна! – воскликнул гневно рыцарь, находившийся подле короля Эдуарда, и смуглое лицо его запылало румянцем, – ты, как лицо подвластное, обязана, конечно, держать язык на привязи! Притом ты выдаешь себя за христианку, а твердишь о языческом своем боге Водене.

Сверкающий взор рыцаря встретился с взором Хильды; в глазах ее светилось глубокое презрение, к которому примешивался произвольный ужас.

– Дорогое дитя! – произнесла она, опустив нежно руку на роскошные кудри своей милой Юдифи, – взглядишь в этого рыцаря и старайся запомнить черты его лица! Это тот человек, с которым ты увидишься только два раза в жизни.

Молоденькая девушка подняла на него прекрасные глаза, и они приковались к нему будто волшебной силой. Туника незнакомца из дорогого бархата темно-алого цвета была в резком контрасте с белоснежной одеждой короля-исповедника; его мощная шея была совсем открыта; накинутый на плечи, весьма короткий плащ с меховой подбойкой не скрывал его груди, а грудь эта казалась способной не поддаться напору целой армии, и руки, очевидно, не уступали ей в несокрушимой силе. Он был среднего роста, но казался на вид выше всех остальных, и это вызывалось его гордой осанкой, исполненной холодного, сурового величия.

Но всего замечательнее во всей особе рыцаря было его лицо: оно цвело здоровьем и юношеской свежестью; незнакомец не следовал обычаю царедворцев, подражавших норманнам; он брил усы и бороду и казался поэтому несравненно моложе, чем был на самом деле; на черные, густые, глянцево-волосы с синеватым отливом была слегка надвинута невысокая шапочка, украшенная перьями.

Вглядевшись повнимательнее в его широкий лоб, можно было заметить, что время провело на нем неизгладимый след.

Складка, образовавшаяся между прямыми бровей, наводила на мысль, что этот человек наделен от природы огненным темпераментом и сильным властолюбием, а легкие морщины, бороздившие лоб, обнаруживали склонность к глубоким размышлениям и к разработке сложных и серьезных вопросов; во взгляде его было что-то гордое, львиное; его маленький рот был довольно красив, но самой выдающейся из всех частей лица был его подбородок: он выдавал железную, беспощадную волю; природа наделяет такими подбородками у звериной породы одного только тигра, а в семье человеческой – одних завоевателей, какими были Цезарь, Кортес, Наполеон.

Эта личность, вообще, отличалась способностью вызывать в женском поле восторг и удивление, в мужчинах – глубокий произвольный страх. Но в том пристальном взгляде, которым приковалась пугливая Юдифь к суровому лицу благородного рыцаря, не светился восторг: в нем выражался только тот глубокий, безмолвный и леденящий ужас, в котором застывает существо бедной птички под обаянием взгляда ее врага – змеи.

Молодая девушка сознавала в душе, что ей не позабыть до гробовой доски этого повелительно-сурового лица, и образ этот будет тесниться в ее мысли и в ее сновидении и стоять перед нею при ярком свете дня и в густом мраке ночи.

Этот пристальный взгляд утомил, очевидно, благородного рыцаря.

– Прекрасное дитя! – произнес он с надменно-приветливой улыбкой, – не следуй наставлениям твоей суровой родственницы, не учишься относиться враждебно к чужестранцам! Могу тебя уверить, что и норманнский рыцарь способен подчиниться влиянию красоты!

Он отделил один из дорогих бриллиантов, придерживавших перья, украшавшие шапочку, и продолжая все с той же приветливой улыбкой:

– Прими эту безделку на память обо мне, и если меня будут бранить и проклинать и ты это услышишь, укрась этим бриллиантом свои чудные кудри и вспомни с добрым чувством о Вильгельме норманнском! [*В саксонских и норманнских хрониках Вильгельм именуется графом, но мы станем отныне именовать его герцогом, каким он и был в действительности*]

Бриллиант сверкнул на солнце и упал к ногам девушки, но Хильда не дала ей воспользоваться даром и отбросила его посохом под копыта коня короля Эдуарда.

– Ты рожден от норманнки, – воскликнула она, – и она обрекла тебя провести всю твою молодость в томлених изгнания: растопчи же копытами твоего скакуна дар этого норманна.

Ты так благочестив, что все твои слова достигают до неба: все это говорят! Так молись же, король, да ниспошлет оно мир твоему отечеству и гибель чужестранцу!

Слова Хильды звучали такой повелительностью, в ней было столько мрачного, сурового величия, что суеверный страх охватил моментально всю свиту короля. Опустив покрывало, пророчица опять взошла на тот же холм. Добравшись до вершины, она остановилась, и вид ее высокой, неподвижной фигуры усилил панику, вызванную в присутствующих предшествующей сценой.

– Едем дальше! Живее! – скомандовал король, осенивший себя широким крестным знаменем.

– Нет, клянусь всем святым! – воскликнул герцог норманнский, устремив свои черные, блестящие глаза на кроткое лицо короля Эдуарда. – Терпение человека должно иметь пределы, а подобная дерзость способна возмутить самых невозмутимых, и если бы жена самого знаменитого из норманнских баронов, то есть жена Фиц-Осборна, дерзнула бы затронуть меня подобной речью...

– То ты бы поступил точно таким же образом, – перебил Эдуард, – ты простил бы ее и отправился далее!

Губы герцога норманнского задрожали от гнева, но он не проявил его ни одним резким словом, а, напротив того, взглянул на короля почти с благоговением. Вильгельм не отличался особенной терпимостью к человеческим слабостям и поступал нередко с полной беспощадностью, но в нем было развито религиозное чувство, глубокая набожность короля-исповедника, его кротость и мягкость привлекали к нему все симпатии графа. Примеры доказали, что люди, одаренные несокрушимой волей, привязывались к кротким и нежным существам; это было доказано той восторженной преданностью, с которой относились дикие и невежественные обитатели севера к искупителю мира: они плакали, слушая его кроткие заповеди, они благоговели перед его святой и безупречной жизнью, но не имели силы побороть свои дикие и порочные страсти и подражать ему в чистоте и смирении.

– Клянусь моим Создателем, что я люблю тебя и смотрю на тебя с глубоким уважением! – воскликнул герцог норманнский, обратясь к королю, – и будь я твоим подданным, я разнес бы на части всякого, кто рискнул бы порицать твою личность! Но кто же эта Хильда? Не сродни ли тебе эта странная женщина? В ее жилах течет, судя по ее смелости, королевская кровь.

– Да, Вильгельм *bien-aime*, эта гордая Хильда, да простит ее Бог, доводится родней королевскому роду, но не тому, которого я служу представителем! – отвечал Эдуард и, понизивши голос, прибавил боязливо. Все думают, что Хильда, принявшая христианство, осталась той же ревностной сторонницей язычества и что, вследствие этого, какой-то чародей или даже злой дух посвятил ее в тайны, не совместные с духом христианской религии! Но мне приятнее думать, что испытания жизни повлияли отчасти на ее здравый смысл!

Король вздохнул с глубоким сердечным сокрушением о заблуждении Хильды, герцог устремил глаза, исполненные гневного и гордого презрения на фигуру пророчицы, продолжавшей стоять с неподвижностью статуи на вершине холма, и сказал потом с мрачным, озабоченным видом:

– Так в жилах этой ведьмы течет на самом деле королевская кровь? Но я хочу надеяться, что у нее нет наследников, способных предъявить какое-нибудь право на саксонский престол!

– Да, но жена Годвина ее близкая родственница, а это обстоятельство чрезвычайно важно! – отвечал Эдуард. – Ты знаешь, как и я, что хоть изгнанный граф не делает попыток, чтобы завладеть престолом, но это не мешает ему желать неограниченной и безраздельной власти над нашими народами.

Король начал описывать важнейшие события из истории Хильды, но он имел такое неясное понятие о том, что совершалось у него в королевстве, он так плохо изучил дух своего

народа и его описания были настолько сбивчивы и настолько неверны, что автор принимает на себя удовольствие ознакомить читателя с биографией Хильды.

Глава II

Славные люди были те отважные воины, которые получили впоследствии название датчан. Хотя они старались погрузить покоренные ими народы во мрак прежнего невежества, но они тем не менее положили начало просвещению других, свободных от их ига. Шведы, норвежцы, датчане имели много общего в главных чертах характера и расходились только в некоторых частностях. Все они отличались неутомимой деятельностью и стремлением к личной и гражданской свободе; их понятия о чести были крайне ошибочны, но они обладали особенной общительностью и сживались свободно с другими племенами; в этом и заключалось резкое их различие с нелюдимыми кельтами.

Да! «*Frances li Archivesce li dus Rou baupiza*».

«Франкенс, архиепископ, крестил Рольфа герцога».

И не прошло еще столетия после этого крещения, как потомки этих закоренелых язычников, не щадивших прежде ни алтаря, ни его священнослужителей, сделались самыми ревностными защитниками христианской церкви; старинное наречие было забыто, за исключением остатков его в городе Байе; древние имена их превратились во французские титулы и нравы франко-норманнов до того изменили их, что в них не осталось ничего прежнего, кроме скандинавской храбрости.

Таким же образом сродные им племена, кинувшиеся в Англосаксонию для грабежа и убийств, сделались в сравнительно короткое время одной из самых патриотических частей англосаксонского народонаселения, как только великий Альфред успел подчинить их своей власти.

В то время, с которого начинается наш рассказ, эти норманны жили мирно, под названием датчан, в пятнадцати английских графствах, даже в Данелаге, за границами этих графств.

Самое большое число их находилось в Лондоне, где они даже имели свое собственное кладбище. Национальное собрание датчан в Витане решало выбор королей, и вообще, они совершенно слились с туземцами. Еще и теперь в одной трети Англии провинциальное дворянство, купцы и арендаторы происходят от викингов, женившихся на саксонских девушках. Было, вообще, мало разницы между норманнским рыцарем времен Генриха I и саксонским таном из Норфолька и Йорка: оба происходили от саксонских матерей и скандинавских отцов.

Но, хотя эта гибкость была одной из характерных черт характера скандинавцев, были, разумеется, и исключения, в которых неподатливость их была просто поразительна. Норвежские хроники, так же как и некоторые места нашей истории, доказывают, до какой степени фальшиво относились многие из поклонников Одина к принятому ими христианству. Несмотря на то, что они принимали святое крещение, в них все же оставались прежние языческие понятия. Даже Гарольд, сын Канута, жил и царствовал как человек, «отверженный от христианской веры», потому что он не был в состоянии добиться помазания на царство от кентерберийского епископа, принявшего к сердцу дело брата его, Гардиканута.

На скандинавском континенте священники часто принуждены были смотреть сквозь пальцы на многие беззакония, вроде многоженства и тому подобного. Если даже они и искренне вступали в христианство, то тем не менее не могли отрешиться от всех своих суеверий. Незадолго до царствования исповедника. Канут Великий издал множество законов против колдовства и ворожбы, поклонения камням, ручьям, и против песен, которыми величали мертвецов; эти законы предназначались для датских новообращенных, так как англосаксонцы, покоренные уже несколько веков тому назад, душой и телом были привержены христианству.

Хильда, происходившая из датского королевского дома и приходившаяся Гите, племяннице Канута, двоюродной сестрой, прибыла в Англию год спустя после восшествия на престол Канута, вместе со своим мужем, упрямым графом, который хотя и был крещен, но втайне все

еще поклонялся Одину и Тору. Он пал в морском сражении, происходившем между Канутом и святым Олафом норвежским. Заметим мимоходом, что Олаф неистово преследовал язычество, что однако ничуть не мешало ему самому придерживаться многоженства. После него даже царствовал один из его побочных сыновей, Магнус. Муж Хильды умер последним на палубе своего корабля, в твердой надежде, что Валькиры перенесут его прямо в Валгаллу.

Хильда осталась после него с единственной дочерью, которую Канут выдал замуж за богатого саксонского графа, происходившего от Пенда, этого короля Мерции, ни за что не хотевшего принять христианство, но говорившего из осторожности, что не будет препятствовать своим соседям сделаться христианами, в случае, если они только действительно будут жить по-христиански, то есть – в мире и согласии. Этельвольф, зять Хильды, впал в немилость Гарди-канута, потому что был в душе более саксонцем, чем датчанином; бешеный король не посмел, однако, представить его открыто в Витан, но отдал насчет его тайные приказания, вследствие чего последний и был умерщвлен в объятиях своей жены, которая не перенесла этой потери. Таким образом, дочь их, Юдифь, перешла под опеку Хильды.

По причине той же гибкости, отличавшей скандинавцев и заставлявшей их переносить всю свою любовь к родине на приютившую их страну, Хильда тоже привязалась так к Англии, как будто родилась в ней. По живости же воображения и вере в сверхъестественное, она осталась датчанкой. После смерти мужа, которого она любила неизменной любовью, душа ее с каждым днем все более и более обращалась к невидимому миру.

Чародейство в Скандинавии имело различные формы и степени. Там верили в существование ведьмы, врывающейся будто бы в дома пожирать людей и скользившей по морю, держа в зубах остов волка-великана, из громадных челюстей которого капала кровь; признавали и классическую валу или сивиллу, предсказывавшую будущее. В скандинавских хрониках много рассказывается об этих сивиллах; они были большей частью благородного происхождения и обладали громадным богатством. Их постоянно сопровождало множество рабынь и рабов, короли приглашали их к себе для совещаний и усаживали на почетные места. Гордая Хильда со своими извращенными понятиями, избрала, конечно, ремесло сивиллы: поклонница Одина [*Один или Воден – бог северных народов, первым именем его называли жители Скандинавии, вторым – саксонцы*] не изучала ту часть своей науки, которая могла бы, с ее точки зрения, служить интересам черни. Мечты ее устремлялись на судьбы государств и королей; она желала поддерживать те династии, которым должно было царствовать над будущими поколениями. Честолюбивая, надменная она внесла в свою новую обстановку предрассудки и страсти блаженной поры давно минувшей молодости.

Все человеческие чувства ее сосредотачивались на Юдифи, этой последней представительнице двух королевских семейств. Стараясь проникнуть в будущее, она узнала, что судьба ее внучки будет тесно связана с судьбой какого-то короля; оракул же намекнул на какую-то таинственную, неразрывную связь ее угасавшего рода с домом графа Годвина, мужа ее двоюродной сестры. Гиты. Этот намек заставил ее более прежнего привязаться к дому Годвина. Свен, старший сын графа, был сначала ее любимцем и поддался, в свою очередь, ее влиянию, вследствие своей впечатлительной и поэтической натуры. Мы увидим впоследствии, что Свен был несчастнее своих братьев. Когда семья Годвина отправилась в изгнание, вся Англия отнеслась к ней с величайшим сочувствием, но в ней не отыскалось ни единой души, которая вздохнула бы с сокрушением о Свене.

Когда же вырос Гарольд, второй сын графа, то Хильда полюбила его еще больше, чем прежде любила Свена. Звезды уверяли ее, что он достигнет высокого положения в свете, а замечательные способности его подтверждали это пророчество. Привязалась она к Гарольду отчасти вследствие предсказания, что судьба Юдифи связана с его судьбой, а отчасти оттого, что не могла проникнуть дальше этого в будущее их общей судьбы, так что она колебалась между ужасом и надеждой. До сих пор ей еще не удавалось повлиять на умного Гарольда. Хотя

он чаще своих братьев посещал ее, на лице его постоянно появлялась недоверчивая улыбка, как только она начинала говорить с ним в качестве предсказательницы. На ее предложение помочь ему невидимыми силами, он спокойно отвечал:

«Храбрец не нуждается в ободрении, чтобы выполнить свою обязанность, а честный человек презирает все предостережения, которые могли бы поколебать его добрые намерения».

Знаменательно было то обстоятельство, что все находившиеся под влиянием Хильды погибали преждевременно самым плачевным образом, несмотря на то что магия ее была самого невинного свойства. Тем не менее народ так почитал ее, что законы против колдовства никак не могли быть безопасно применимы к ней. Высокородные датчане уважали в ней кровь своих прежних королей и вдову одного из знаменитейших воинов. К бедным она была добра, постоянно помогала им и словом и делом, со своими рабами обращалась тоже милостиво и потому могла твердо надеяться, что они не дадут ее в обиду.

Одним словом, Хильда была замечательно умна и не делала ничего, кроме добра. Если и предположить, что некоторые люди известного темперамента, обладающие особенно тонкими нервами и вместе с тем пылкой фантазией, могли, действительно, иметь сообщения со сверхъестественным миром, то древнюю магию никак нельзя сравнить с гнилым болотом, испускающим ядовитые испарения и закрытым для доступа света, но следует уподобить ее быстрому ручью, журчащему между зеленых берегов и отражающему в себе прелестную луну и мириады блестящих звезд.

Итак, Хильда и прекрасная внучка ее жили тихо и мирно, в полнейшей безопасности. Нужно еще добавить, что пламеннейшим желанием короля Эдуарда и девственной, подобно ему благочестивой, его супруги было посвятить Юдифь служению алтарю. Но по законам нельзя было принуждать ее к этому без согласия опекунши или ее собственного желания, а Юдифь никогда не противоречила ни словом, ни мыслью своей бабушке, которая не хотела и слышать об ее вступлении в храм.

Глава III

Между тем как король Эдуард сообщал норманнскому герцогу все, что ему было известно и даже неизвестно о Хильде, лесная тропинка, по которой они ехали, завела их в такую чащу, как будто столица Англии была от них миль за сто. Еще и теперь можно видеть в окрестностях Норвуда остатки тех громадных лесов, в которых короли проводили время, гоняясь за медведями и вепрями. Народ проклинал норманнских монархов, подчинивших его таким строгим законам, которые запрещали ему охотиться в королевских лесах; но и в царствование англосаксонцев простолудин не смел преступить эти законы под страхом смертной казни.

Единственной земной страстью Эдуарда была охота, и редко проходил день, чтобы он не выезжал после литургии со своими соколами или легавыми собаками в леса. Соколиную охоту он, впрочем, начинал только в октябре, но и в остальное время он постоянно брал с собой молодого сокола, чтобы приучить его к охоте, или старого любимого ястреба.

В то время, как Вильгельм начинал тяготиться бессвязным рассказом доброго короля, собаки вдруг залаяли и из чащи вылетел внезапно бекас.

– Святой Петр! – воскликнул король, пришпоривая коня и спуская с руки знаменитого перегринского сокола.

Вильгельм не замедлил последовать его примеру, и вся кавалькада поскакала галопом вперед, любуясь на поднимающуюся добычу и тихо кружившегося вокруг нее сокола.

Король, увлекшись сценой, чуть не полетел с коня, когда этот последний внезапно остановился перед высокими воротами, проделанными в массивной стене, сложенной из кирпичей и булыжника.

На воротах апатично и неподвижно сидел высокорослый сеорль, а за ним стояла группа поденщиков, опираясь на косы и молотильные цепи. Мрачно и злобно смотрели они на приближающуюся кавалькаду. Здоровые, свежие лица и опрятная одежда доказывали, что им живется не дурно. Действительно, поденщики были в то время гораздо лучше обеспечены, чем теперь, в особенности если они работали на богатого англосаксонского тана.

Стоявшие на воротах люди были прежде дворовыми Гарольда, сына Годвина, изгнанника.

– Отоприте ворота, добрые люди, отоприте скорее! – крикнул им Эдуард по-саксонски, причем в произношении его слышалось, что этот язык не привычен ему.

Никто не двинулся с места.

– Не следует топтать хлеб, посеянный нами для нашего графа Гарольда, проворчал сеорль сердито, между тем как поденщики одобрительно рассмеялись.

Эдуард с несвойственным ему гневом привскочил на седле и поднял с угрозой руку на упрямого сеорля; вместе с тем подскочила его свита и обнажила торопливо мечи. Король выразительным жестом пригласил своих рыцарей успокоиться и ответил саксонцу:

– Наглец!.. Я бы наказал тебя, если бы мог! – В этом восклицании было много и смешного, и трогательного. Норманны отвернулись, чтобы скрыть улыбку, а саксонец оторопел. Он теперь узнал великого короля, который был не в состоянии причинить кому-либо зло, как бы ни вызывали его гнев.

Сеорль соскочил проворно с ворот и отпер их, почтительно преклонившись пред своим монархом.

– Поезжай вперед, Вильгельм, мой брат, – сказал Эдуард спокойно, обратившись к герцогу.

Глаза сеорля засверкали, когда он услышал имя герцога норманнского. Пропустив вперед всех своих спутников, король обратился снова к саксонцу.

– Отважный молодец, – сказал он. – Ты говорил о графе Гарольде и его полях; разве тебе не известно, что он лишился всех своих владений и изгнан из Англии?

– С вашего позволения, великий государь, эти поля принадлежат теперь Клапе, шестисотенному.

– Как так? – спросил торопливо Эдуард. – Мы, кажется, не отдавали поместья Гарольда ни саксонцам, ни Клапе, а разделили их между благородными норманнскими рыцарями.

– Эти прекрасные поля, лежащие за ними луга и фруктовые сады были переданы Фульке, а он продал их Клапе, бывшему управляющему Гарольда. Так как у Клапы не хватило денег, то мы дополнили необходимую сумму своими грошами, которые нам удалось скопить, благодаря нашему благородному графу. Сегодня только мы запивали магарыч... Вот мы, с Божьей помощью, и будем заботиться о благосостоянии этого поместья, чтобы снова передать его Гарольду, когда он вернется... что неминуемо.

Несмотря на то что Эдуард был замечательно прост, он все-таки обладал некоторой долей проницательности, и потому понял, как сильна была привязанность этих грубых людей к Гарольду. Он слегка изменился в лице и глубоко задумался.

– Хорошо, мой милый! – проговорил он ласково, после минутной паузы. Поверь, что я не сержусь на тебя за то, что ты любишь так своего тана; но есть люди, которым это может и не понравиться, поэтому я предупреждаю тебя по-дружески, что уши твои и нос не всегда будут в безопасности, если ты будешь со всеми так же откровенен, как был со мною.

– Меч против меча, удар против удара! – произнес с проклятием саксонец, схватившись за рукоять ножа. – Дорого поплатится тот, кто прикоснется к Сексвольфу, сыну Эльфгельма!

– Молчи, молчи, безумный! – воскликнул повелительно и гневно король и отправился далее, вслед за норманнами, успевшими уже выбраться в поле, покрытое густой, колосистой рожью, и наблюдавшими с видимым удовольствием за движениям соколов.

– Предлагаю пари, государь! – воскликнул прелат, в котором не трудно было узнать надменного и храброго байеского епископа Одо, брата герцога Вильгельма. – Ставлю своего бегуна против твоего коня, если сокол герцога не одержит верх над бекасом.

– Святой отец, – возразил Эдуард недовольным током, – подобное пари противно церковным уставам, и монахам запрещено заниматься им... Поди ты, это нехорошо!

Епископ, не терпевший противоречия даже от своего надменного брата, нахмурился и готовился дать резкий ответ, но Вильгельм, постоянно старавшийся избавить короля от малейшей неприятности, заметил намерение Одо и поспешил предупредить ссору.

– Ты порицаешь нас справедливо, король, – сказал он торопливо, наклонность к легкомысленным и пустым удовольствиям – один из капитальных недостатков норманнов... Но полюбуйся лучше своим прекрасным соколом! Полет его величествен... смотри, как он кружится над несчастным бекасом... он его настигает!.. Как он смел и прекрасен!

– А все же клюв бекаса пронзит сердце отважной, величавой птицы! заметил насмешливо епископ.

Почти в ту же минуту бекас и сокол опустились на землю. Маленький сокол герцога последовал за ним и стал быстро кружиться над обеими птицами.

Обе были мертвы.

– Принимаю это за предзнаменование, – пробормотал герцог по-латыни. Пусть туземцы взаимно уничтожают друг друга!

Он свистнул, и сокол сел к нему на руку. – Поедемте домой! скомандовал король.

Глава IV

Кавалькада въехала в Лондон через громадный мост, соединявший Соутварк со столицей. Остановимся тут, чтобы взглянуть на представшую картину.

Вся окрестность была покрыта дачами и фруктовыми садами, принадлежавшими богатым купцам и мещанам. Приблизившись к реке с левой стороны, можно было видеть две круглые арены, предназначенные для травли быков и медведей. С правой стороны был холм, на котором упражнялись фокусники, для потехи гуляющей по мосту публики. Один из них попеременно кидал три мяча и три шара, которые ловил затем один вслед за другим. Невдалеке от него плясал громадный медведь под звуки флейты или флажолета. Зрители громко хохотали над ним, но смех их мгновенно прекратился, когда послышался топот норманнских бегунов, причем всеобщее внимание устремилось на знаменитого герцога, ехавшего рядом с королем.

В начале моста, на котором когда-то происходила страшная битва между датчанами и святым Олафом, союзником Этельреда, находились две полуразрушенные башни, выстроенные из римских кирпичей и дерева, а возле них стояла маленькая часовня. Мост был так широк, что два экипажа могли свободно ехать по нему рядом, и постоянно пестрел многочисленными пешеходами. Это было любимое местопребывание песенников; тут сновали взад и вперед сарацины со своими испанскими и африканскими товарами; немецкий купец спешил по этому мосту к своей даче, рядом с ним шел закутанный отшельник, а в стороне виднелся столичный фронт, лебезивший возле молодой крестьянки, идущей на рынок с корзиной, наполненной ландышами и фиалками.

Жгучий взгляд Вильгельма останавливался с изумлением то на группах двигавшихся людей, то на широкой реке Думала ли глазевшая в это время на него толпа, что он будет для нее строгим властелином, но вместе с тем даст ей такие льготы, которых она прежде никогда не имела?

– Клянусь святым крестом! – воскликнул он наконец. – Ты, дорогой брат, получил блестящее наследство!

– Гм! – произнес король небрежно. – Ты не знаешь, как трудно управлять этими саксонцами... А датчане? – сколько раз они врывались сюда?! Вот эти башни – памятники их нашествия... Почему знать, может быть, уже в будущем году на этой реке снова будет развеваться знамя с изображением черного ворона? Король датский, Магнус уже претендует на мою корону, в качестве наследника Канута... а... а Годвина и Гарольда, единственных людей, которых боятся датчане, нет здесь.

– Ты в них не будешь нуждаться, Эдуард! – проговорил герцог скороговоркой. – В случае опасности посылай за мной: в моей новой шербургской гавани стоит много кораблей, готовых к твоим услугам... Скажу тебе в утешение, что если б я был королем Англии, если б я владел этой рекой, то народ мог бы спать мирным сном от всеобщей до заутрени. Клянусь Создателем, что никто никогда не увидел бы здесь датского знамени!

Вильгельм не без особенного намерения выразился так самоуверенно: цель его была та, чтобы добиться от Эдуарда обещания передать ему престол.

Но король промолчал, и кавалькада начала приближаться к концу моста.

– Это что еще за древняя развалина? – спросил герцог, скрывая свою досаду на молчаливость Эдуарда. – Не остатки ли это какой-нибудь римской крепости?

– Да, говорят, что она была выстроена римлянами, – ответил король. Один из ломбардских архитекторов прозвал эту башню развалиной Юлия.

– Эти римляне были во всех отношениях нашими учителями, – заметил Вильгельм. – Я уверен, что это самое место будет когда-нибудь выбрано одним из последующих королей Англии для постройки дворца... А это что за замок?

– Это Тоуер, в котором обитали наши предки... Я и сам жил в нем, но теперь предпочитаю ему тишину торнейского острова.

Говоря это, они достигли Лондона, который тогда еще был мрачным, некрасивым городом. Дома его были большей частью деревянные; редко виднелись окна со стеклами: они просто защищались полотняными занавесками. Там и сям, на больших площадях, попадались окруженные садами храмы. Множество громадных распятий и образов на перекрестках возбуждали удивление иноземцев и благоговение англичан. Храмы отличались от простых домов тем, что над соломенными или тростниковыми крышами их находились грубые конусообразные и пирамидальные фигуры. Опытный глаз ученого мог бы различить еще следы прежней римской роскоши, остатки первобытного города, в настоящее время застроенного рынками.

Вдоль Темзы возвышалась стена Константина, хотя уже сильно попорченная. Вокруг бедной церкви святого Павла, в которой был похоронен Себба, последний король саксонцев, отказавшийся от престола в пользу несчастного отца Эдуарда, – стояли громадные развалины храма Дианы. Возле башни, прозванной в позднейшие времена сарацинским именем «Барбикан», находились остатки римской каланчи, с которой когорты наблюдали за тем, чтобы усмотреть пожар или увидеть издали приближение неприятеля. Посреди Бишопс-гете-стрета сидел на своем троне изуродованный Юпитер, у ног которого находился орел; многие из новообращенных датчан останавливались перед ним, думая, что это Один со своим вороном. У Людгета указывали на арки, оставшиеся от колоссального римского водопровода, а близ «стального дворца», в котором обитали немецкие купцы, стоял полностью сохранившийся римский храм, существовавший уже во времена Жоффрея монмутского. За стенами города еще тянулись по равнинам римские виноградники. На том самом месте, где прежде римляне совершали свою меновую торговлю, занимались тем же промыслом люди, принадлежавшие к разным национальностям. На каждом шагу в Лондоне и вне его выкапывались урны, вазы, оружие и человеческие кости, но никто не обращал на все это никакого внимания.

Но герцог норманнский смотрел не на остатки прежней цивилизации, а думал о людях, которые послужат проводниками будущего просвещения страны.

Всадники проехали в молчании Сити и миновали небольшой мост, перекинутый через речку Флит. Налево виднелись поля, направо – зеленеющие леса и многочисленные рвы.

Наконец они достигли деревни Шеринг, которую Эдуард недавно пожаловал вестминстерскому храму. Остановившись на минуту перед зданием, где воспитывались соколы, они повернули к грубому кирпичному двору, принадлежавшему шотландским королям, а оттуда поскакали к каналу, окружавшему Вестминстер. Здесь они сошли с лошадей и сели в шлюпку, которая должна была перевезти их на противоположную сторону.

Глава V

Ворота нового дворца Эдуарда отворились, чтобы впустить саксонского короля и норманнского герцога. Вильгельм окинул взором каменную, еще неоконченную громаду дворца с его длинными рядами сводчатых окон, твердыми пилястрами, колоннадами и массивными башнями, взглянул на группы придворных, вышедших к нему навстречу... и сердце радостно забилося в его мощной груди.

– Разве нельзя уже назвать этот двор норманнским? – шепнул он своему брату – Взгляни на этих благородных графов: разве они все не одеты в наш костюм? А эти ворота разве не созданы рукой норманна?..

Да, брат, в этих палатах занимается заря нового восходящего светила!

– Если бы в Англии не было народа, то она теперь принадлежала бы тебе, – возразил епископ. – Ты не видел, во время нашего въезда, нахмуренных бровей, не слышал сердитого ропота?.. Есть много негодяев, и ненависть их сильна!

– Силен и конь, на котором я ежжу, – сказал герцог, – но смелый ездок усмиряет его уздой и шпорами.

Менестрели заиграли и запели любимую песнь норманнов. Норманнские рыцари присоединились к хору и приветствовали таким образом вступление могучего герцога в жилище слабого потомка Водена.

Во дворе герцог соскочил с коня, чтобы поддержать стремя королю. Эдуард положил руку на широкое плечо своего гостя и, довольно неловко спустившись на землю, обнял и поцеловал его перед всем собранием, после чего он ввел его за руку в прекрасный покой, нарочно устроенный для Вильгельма, где и оставил его одного с его свитой.

После ухода короля, герцог разделся и погрузился в глубокое раздумье. Когда же Фиц-Осборн, знатнейший из норманнских баронов, пользовавшийся особенным доверием герцога, подошел к нему, чтобы ввести его в баню, прилежавшую к комнате, Вильгельм отступил и закутался в свою мантию.

– Нет, нет! – прошептал он тихо. – Если ко мне и пристала английская пыль, то пусть она тут и остается!.. Ты пойми, Фиц-Осборн, ведь она равносильна началу моего владения страной!

Движением руки он приказал своей свите удалиться, оставив при себе Фиц-Осборна и Рольфа, графа гирфордского, племянника Эдуарда, к которому Вильгельм был особенно расположен.

Герцог прошелся молча два раза по комнате и остановился у круглого окна, выходившего на Темзу.

Прелестный вид открылся перед его глазами; заходящее солнце озаряло флотилию маленьких лодок, облегчавших сообщение между Вестминстером и Лондоном. Но взор герцога искал серые развалины баснословного Тоуера, башни Юлия и лондонские стены, он скользнул и по мачтам того зарождавшегося флота, который послужил в царствование Альфреда Дальнорского для открытия неизвестных морей и внес цивилизацию в самые отдаленные, неизвестные страны.

Герцог глубоко вздохнул и протянул непроизвольно руку, как будто бы желая схватить еле раскинувшийся перед ним модный город.

– Рольф, – сказал он внезапно, – тебе известно богатство лондонского купечества, ты ведь, *foi guillaume, mon gentil chevalier*, настоящий норманн и чувствуешь близость золота точно так, как собака приближение вепря!

Рольф улыбнулся при этом двусмысленном комплименте, который оскорбил бы всякого честного простолюдина.

– Ты не ошибся, герцог! – ответил он ему. – Обоняние изощряется в этом английском воздухе... где встречаются люди всевозможных наций: саксонцы, финляндцы, датчане, фламандцы, пикты и валлоны – не так как у нас, где уважаются только высокородные и отважные люди. Золото и поместья имеют здесь то же значение, что и благородное происхождение; это доказывается уже тем, что чернь прозвала челнов Витана многоимущими. Сегодняшний сеорль может завтра же сделаться именитым вельможей, если он разбогатеет каким-нибудь чудом в продолжение ночи. Он может тогда жениться даже на царской родственнице и командовать армией. А обедневший граф подвергается тотчас же всеобщему презрению; он лишается своего прежнего значения и становится в уровень с людьми низшего класса; сыновья его могут дойти до унижительного положения поденщиков... Да, золото уважается здесь более всего; все стремится к наживе, а клянусь святым Павлом, что примеры заразительны!

– Хорошо, – сказал герцог, выслушав эту речь и потирая руки. – Трудно было бы покорить или даже поколебать народ, тесно слившийся с единственным потомком доблестного, неподкупного племени.

– Таковы все бретонцы, но таковы и все мои валлийцы, герцог! – заметил ему Рольф.

– Но в стране, где богатство ставится выше благородного происхождения, – продолжал Вильгельм, не обращая внимания на замечание Рольфа, – можно и подкупить народных предводителей, а чернь везде сильна исключительно бескорыстными, мужественными вождями... Мы, однако же, отделились от главного предмета, этот Лондон, вероятно, очень богатый город, любезнейший мой Рольф?

– Да, настолько богатый, что может свободно выставить армию, которой хватило бы от Руана до Фландрии, а от нее до Парижа.

– В жилах Матильды, которую ты желаешь иметь своей супругой, течет кровь Карла Великого, – заметил Фиц-Осборн. – Дай Бог, чтобы дети ее завоевали царство доблестного монарха!

Герцог слегка нагнулся и приложился набожно к висевшему на его груди кресту со святыми мощами.

– Как только я уеду, – обратился он снова к Рольфу, – спешу к своим валлийцам; они очень упрямы и тебе будет с ними немало хлопот!

– Да, спать в тесном соседстве с этим рассвирепевшим роем не совсем-то удобно!

– Ну, так пусть же валлийцы подерутся с саксонцами; старайся продлить между ними борьбу, – посоветовал Вильгельм. – Помни нынешнее предзнаменование: норвежский сокол герцога Вильгельма царил над валлийским соколом и саксонским бекасом, после того как они взаимно уничтожили друг друга... Но пора одеваться: нас скоро придут звать на ужин и на пир!

Часть вторая Ученый Ланфранк

Глава I

В то время саксонцы – начиная с короля и кончая последним поденщиком садились ежедневно четыре раза за стол. «Счастливые времена!» – воскликнет не один из потомков этих поденщиков, читая эти строки. Да, конечно, счастливые, но только не для всех, потому что хлеб рабства и горек и тяжел. В то время, когда живые деятельные бретонцы и постоянные распри королей предписывали саксонцам строгое воздержание, последних нельзя было упрекнуть в страсти к пьянству, но они увлеклись впоследствии примером датчан, любивших наслаждаться удовольствиями жизни. Под влиянием их саксонцы предавались всевозможным излишества, хотя и позаимствовали от них много хорошего; эти пороки не проникли, однако, до двора Исповедника, воспитанного под влиянием строгих нравов и обычаев норманнов.

Норманны играли почти одинаковую роль со спартанцами: окруженные злобными, завистливыми врагами, они поневоле следовали внушениям духовенства, чтобы только удержаться на месте, добытом ими с таким тяжелым трудом. Точно так, как спартанцы, и норманны дорожили своей независимостью и собственным достоинством, отличавшим их резко от многих народов, – гордое самоуважение не позволяли им унижаться и кланяться перед кем бы то ни было. Спартанцы били благочестивее остальных греков вследствие постоянной удачи во всех предприятиях, несмотря на препятствия, с которыми им приходилось бороться; этой же причине можно приписать и замечательное благочестие норманнов, веровавших всем сердцем, что они находятся под особым покровительством Пресвятой Богородицы и Михаила архистратига.

Прислушав всеобщую, отслуженную в часовне вестминстерского аббатства, которое было построено на месте храма Дианы¹, король со своими гостями прошел в большую залу дворца, где был сервирован ужин.

В стороне от королевской эстрады стояли три громадных стола, предназначенных для рыцарей Вильгельма и благородных представителей саксонской молодежи, изменившей ради прелести новизны грубому патриотизму своих отцов.

На эстраде сидели вместе с королем только самые избранные гости: по правую руку Эдуарда помещался Вильгельм, по левую – епископ Одо. Над ними возвышался балдахин из золотой парчи, а занимаемые ими кресла были из какого-то богато вызолоченного металла и украшены царским гербом великолепной работы. За этим же столом сидели Рольф и барон Фиц-Осборн, приглашенный на пир в качестве родственника и наперсника герцога. Вся посуда была из серебра и золота, а бокалы украшены драгоценными камнями, и перед каждым гостем лежали столовый ножик с ручкой, сверкавшей яхонтами и ценными топазами, и салфетка, отделанная серебряной бахромой. Кушанья не ставились на стол, а подавались слугами, и после каждого блюда благородные пажи обносили присутствовавших массивными чашами с благоуханной водой.

За столом не было ни одной женщины, потому что той, которой следовало бы сидеть возле короля, – прелестной дочери Годвина и супруги Эдуарда не было во дворце: она впала в немилость короля вместе со своими родными и была сослана куда-то на жительство. «Ей не следует

¹ Из развалин этого храма при короле Сиберте были построены церковь и небольшой монастырь, аббат которого, Иульнот, был любимым собеседником Канута. Тут же когда-то находился и дворец этого короля, уничтоженный пожаром.

пользоваться королевской роскошью, когда отец и братья питаются горьким хлебом опальных и изгнанников», – порешили советники кроткого короля – и он согласился с этим бесправным приговором.

Несмотря на прекрасный аппетит всех гостей, им все-таки нельзя было прикоснуться к пище без предварительных религиозных обрядов. Страсть к псалмопениям достигла тогда в Англии высшей степени. Рассказывают даже, что при некоторых торжественных пирах соблюдался обычай не садиться за стол, не выслушав все без исключения псалмы царя Давида: какой громадной памятью и какой крепкой грудью должны были тогда отличаться певцы!

На этот раз стольник сократил обычное молитвословие до такой сильной степени, что, к великой досаде короля Эдуарда, были пропеты только десять псалмов.

Все заняли места, и король, испросив извинение герцога за это непривычное нерадение стольника, произнес свое вечное: «Не хорошо, не хорошо, поди ты, это не хорошо!»

Разговор за столом почему-то не клеился, несмотря на старания Рольфа и даже герцога, мысленно пересчитывавшего тех саксонцев, на которых он мог положиться при случае.

Но не так было за остальными столами; поданные в большом количестве напитки развязали саксонцам языки и лишили норманнов обычной их сдержанности. В то время, когда винные пары уже произвели свое действие, за дверями залы – где бедняки дожидались остатков ужина – произошло небольшое движение и вслед за тем показались двое незнакомцев, которым стольник очистил место за одним из столов.

Новоприбывшие были одеты замечательно просто: на одном из них было платье священнослужителя низшего разряда, а на другом – серый плащ и широкая туника, под которой виднелось нижнее платье, покрытое пылью и грязью. Первый был небольшого роста, худощавый, – другой, наоборот, исполинского роста и сильного сложения. Лица их были более чем наполовину закрыты капюшонами.

При их появлении, между присутствовавшими пронесся ропот удивления, презрения и гнева, который прекратился, когда заметили, с каким уважением относился к ним стольник, особенно к высокому; но немного спустя ропот усилился, так как великан бесцеремонно притянул к себе громадную кружку, поставленную для датчанина Ульфа, саксонца Годрита и двух молодых норманнских рыцарей, родственников могучего Гранмениля. Предложив своему спутнику выпить из кружки, он сам осушил ее с особенным наслаждением, выказывавшим, что он не принадлежит к норманнам, и потом попросту обтер губы рукавом.

– Мессир, – обратился к нему один из норманнских рыцарей – Вильгельм Малье, из дома Малье де-Гравиль, как можно дальше отодвигаясь от гиганта, извини, если я замечу тебе, что ты испортил мой плащ, ушиб мне ногу и выпил мое вино. Не угодно ли будет тебе показать мне лицо человека, нанесшего все эти оскорбления, мне – Вильгельму Малье де-Гравиллю?

Незнакомец ответил каким-то глухим смехом и опустил капюшон еще ниже.

Вильгельм де-Гравиль обратился с вежливым поклоном к Годриту, сидевшему напротив него.

– Виноват, благородный Годри, мне кажется, что этот вежливый гость саксонского происхождения и не знает другого языка, кроме своего природного. Потрудись спросить его: в саксонских ли обычаях входить в таких костюмах во дворец короля и выпивать без спроса чужое вино?

Годрит, ревностнейший подражатель иностранных обычаев, вспыхнул при иронических словах Вильгельма де-Гравилля. Повернувшись к странному гостю, в отверстии капюшона которого исчезали теперь колоссальные куски паштета, он проговорил сурово, хотя и картавя немного, как будто не привык выражаться по-саксонски:

– Если ты – саксонец, то не позорь нас своими мужицкими приемами, попроси извинения у норманнского тана – и он, конечно, простит тебя... Обнажи свою голову и...

Тут речь Годрита была прервана следующей новой выходкой неисправимого великана: слуга поднес к Годриту вертел с жирными жаворонками, а нахал вырвал весь вертел из-под самого носа испуганного рыцаря. Двух жаворонков он положил на тарелку своего спутника, хотя тот энергично протестовал против этой любезности, а остальных – перед собой, не обращая никакого внимания на бешеные взгляды, устремившиеся на него со всех сторон.

Малье де-Гравиль взглянул с завистью на прекрасных жаворонков, потому что он, в качестве норманна, хоть и не был обжорой, но во всяком случае не пренебрегал лакомым кусочком.

– Да, *foi de chevalier!* – произнес он. – Все воображают, что надо ехать за море, чтобы увидеть чудовищ; но мы как-то уж особенно счастливы, продолжал он, обращаясь к своему другу, графу зверскому, – так как нам удалось открыть Полифена, не подвергаясь баснословным приключениям Улисса.

Он указал на предмет всеобщего негодования и довольно удачно привел стих Вергилия:

«*Monstrum, horrendum, informe, ingens, cui lumen adeptum*»²

Великан продолжал уничтожать жаворонков с прежним непоколебимым спокойствием, спутник же его казался пораженным звуками латинского языка; он внезапно поднял голову и сказал с улыбкой удовольствия:

– *Vene, mi fili, lepedissime; poetae verba in militis ore non indecora sonant*³.

Молодой норманн вытаращил глаза на говорившего и ответил иронично:

– Одобрение такого великого духовного лица, за которое я тебя считаю, судя по твоей скромности, неминуемо должно возбудить зависть моих английских друзей, которые по своей учености вместо «*in verba magistri*» говорят «*in vina magistri*».

– Ты, должно быть, большой шутник, – сказал, снова покрасневший, Годрит. – Я нахожу, что вообще латынь идет только монахам, да и те не слишком-то сильны в ней.

– Латынь-то? – возразил де-Гравиль с презрительной усмешкой. – О, Годри, *bien aime!* Латынь язык Цезарей и сенаторов, гордых мужей и мужественных завоевателей. Разве ты не знаешь, что герцог Вильгельм Безбоязненный уже на девятом году знал наизусть комментарии Юлия Цезаря?.. и поэтому вот тебе мой совет; ходи чаще в школу, говори почтительнее о монахах, из числа которых выходят самые лучшие полководцы и советники, помни, что «ученье свет, а неученье – тьма!».

– Твое имя, молодой рыцарь? – спросил духовный по-норманнски, хотя и с легким акцентом.

– Имя его я могу сообщить тебе, – сказал великан, на том же языке и грубым голосом. – Я могу сообщить его имя, род и характер. Зовут этого юношу Вильгельмом Малье, а иногда и де-Гравилем, так как наше норманнское дворянство нынче уже не может существовать без этого де. Но это вовсе не доказывает, что он имел какое-либо право на баронство де-Гравиль, принадлежащее главе его дома, исключая разве старой башни, находящейся в каком-то углу названного баронства, и прилежащей к ней земли, достаточной только для прокорма одной лошади и двух крепостных. Очень может быть, что последние уже давно заложены, чтобы купить бархатную мантию и золотую цепь. Родители его были: норвежец Малье, принадлежавший к морякам Рольфа, этого морского короля, и французенка, от которой он наследовал все, что имеет драгоценного, а именно: плутовской ум и острый язык, любящий чернить все встречное и поперечное. Он обладает и еще замечательными преимуществами: он очень выдержан, так как ест только за счет других; знает латынь, потому что был, благодаря своей тощей фигурке, предназначен к монашеству; обладает некоторым мужеством, если судить по тому,

² Чудовище, страшное на взгляд, слепое, ужасное, бесформенное.

³ «Хорошо, мой сын! Хорошо, насмешник: слова поэта недурно звучат в ушах воина».

что он собственной рукой убил трех бургундцев, вследствие чего герцог Вильгельм и сделал из него вместо монаха *sans tache* – рыцаря *sans terre*... Что же касается остального...

– Что касается остального, – перебил де-Гравиль, страшно побледневший от бешенства, но сдержанным тоном, – то не будь здесь герцога Вильгельма, я вонзил бы свой меч в твою тушу, чтобы тебе удобнее было переварить краденый ужин и заставить тебя замолчать навсегда.

– Что же касается остального, – продолжал великан равнодушно, – то он схож с Ахиллесом только потому, что он *impiger, iracundus*⁴. Послые люди могут не хуже маленьких прихвастнуть латинским словечком, мессир Малье, *Ie beai Clerc!*

Рука рыцаря судорожно ухватилась за кинжал, и зрачки его расширились, как у тигра, собирающегося кинуться на свою добычу, но, к счастью, в это время раздался звучный голос Вильгельма.

– Прекрасен твой пир и вино твое веселит сердце, государь и брат мой. – сказал он. – Только недостает песен менестреля, которые считаются королями и рыцарями за необходимую принадлежность обеда. Прости, если попрошу, чтобы сыграли какую-нибудь старинную песню: ведь родственные друг другу норманны и саксонцы всегда любят слушать деяния своих отцов.

Ропот одобрения пронесся между норманнами, саксонцы же тяжело вздохнули: им слишком хорошо было известно, какого рода песни пелись при дворе Исповедника.

Ответа короля не было слышно, но кто изучил лицо его до тонкости, мог бы прочесть на нем легкое выражение порицания. По знаку с его стороны выползли из угла какие-то похожие на привидения музыканты, в белых одеждах, похожих на саваны, и заиграли могильную прелюдию, после чего затянули плаксивым голосом длинную песню о чудесах и мученичестве какого-то святого.

Пение было до того монотонно, что подействовало на всех подобно усыпительному средству. Когда Эдуард, один из всего собрания внимательно слушавший певцов, оглянулся на своих гостей, ожидая услышать от них восторженную похвалу, то, ему представилась следующая, утешительная картина: племянник его зевал; епископ Одо слегка всхрапывал, сложив на животе руки, богато украшенные перстнями; Фиц-Осборн покачивал маленькой головой, под влиянием сладкой дремоты, а Вильгельм смотрел куда-то вдаль и, очевидно, не слышал ничего.

– Благочестивая, душеполезная песня, герцог, – сказал король.

Вильгельм встрепенулся, кивнул рассеянно головой и спросил отрывисто:

– Что виднеется там, – уж не герб ли короля Альфреда?

– Да... а что?

– Гм! Матильда фландрская происходит от него по прямой линии... Саксонцы все еще чрезвычайно чтят его потомков.

– Ну, да. Альфред был великий человек и перевел псалмы царя Давида.

Монотонное пение, наконец, кончилось, но действие его на гостей Эдуарда еще не прекратилось. Томительная тишина царствовала в зале, когда в ней неожиданно раздался звучный голос. Все вздрогнули и оглянулись: перед ними стоял великан, вынувший из-под своего плаща какой-то трехструнный инструмент и запевший следующую балладу о герцоге Ру:

1.

«От Блуа до Санли текут, подобно бурному потоку, норманны, – и франк за франком падают перед ними, купаясь в своей крови. Во всей стране нет ни одного замка, пощаженного огнем, ни жены, ни ребенка, не оплакавших супруга и отца. Хорошо вооруженные монахи и рыцари бежали к королю... земля дрожала за ними: их догонял герцог Ру».

2.

⁴ Беспокоен и гневен.

«– О государь, – жалуется барон, – не помогают ни шпоры, ни меч; удары норманнской секиры градом сыплются на нас. Напрасно, – жалуется и благочестивый монах, – молимся мы Пресвятой Деве: молитвы не спасают нас от норманнов. Рыцарь стонет, монах плачет, потому что ближе и ближе придвигается черное знамя Ру».

3.

«Говорит король Карл:

– Что ж мне делать? Погибли мои полки; король силен только, когда подданные окружают его трон, а если война поглотила моих рыцарей, то пора прекратить ее. Если небо отвергает ваши мольбы, монахи, то согласитесь на мир... Ступай, отец; неси в его лагерь Распятье, посохом мани в стадо этого злого Ру»

4.

«– Пусть будет принадлежать ему весь морской берег, и пусть Жизла, дочь моя, станет невестой его, если он приложится к Распятью и вложит в ножны проклятый свой меч и сделается вассалом Карла... Иди, церковный пастырь, совершай святое дело, потом золотой парчой покрой ты пята Ру».

5.

«Со священными песнями монах приближается к Ру, стоящему, подобно крепкому дубу, посреди своих воинов, и говорит мудрый архиепископ франков:

– К чему война, когда тебе предлагают мир и богатые дары? К чему опустошать прекраснейшую землю под луной? Она ведь может быть твоею, говорит король Карл тебе, Ру».

6.

«– Он говорит, что твоим будет весь берег морской, и Жизла, прелестная дочь его, станет невестой твоей, если примешь христианство, вложишь в ножны свой меч и сделаешься вассалом Карла.

Норманн смотрит на воинов, совета от них ждет... Смилосердился над франками Бог: смягчил сердце Ру».

7.

«– Вот Ру пришел в Сан-Клер, где на троне сидел король Карл и вокруг него бароны. Дает он руку Карлу, и громко все восклицают; заплакал король Карл; сильно Ру жмет руку ему.

– Теперь приложись к ноге, – епископ говорит. – Нельзя тебе иначе...

Блеснул грозно взор новообращенного Ру».

8.

«К ноге дотрагивается он, будто желая по-рабски приложиться к ней... вот опрокинул трон, и тяжело упал король... Ру, гордо подняв голову свою, громогласно изрек:

– Перед Богом преклоняюсь, не перед людьми, будь то император или король. К ноге труса может приложиться лишь трус!

Вот были слова Ру».

Невозможно описать, какое впечатление произвела эта грубая баллада на норманнов. Особенно сильно взволновались они, когда узнали личность певца.

– Это Тельефер, наш Тельефер! – воскликнули они радостно.

– Клянусь святым Павлом, мой дорогой брат, – произнес Вильгельм с добродушным смехом, – один мой воинственный менестрель может так повлиять на душу воина. Ради личных его достоинств прошу, тебя простить его за то, что он осмелился петь такую отважную балладу...

Так как мне известно, – при этих словах герцог снова сделался серьезным, – что только весьма важные обстоятельства могли привести его сюда, то позволь сенешалю призвать его ко мне.

– Что угодно тебе, угодно и мне, – ответил король сухо и отдал сенешалю нужное приказание.

Через минуту знаменитый певец приблизился тихо к эстраде, в сопровождении сенешала и товарища своего. Лица их были теперь открыты и невольно поражали всякого своим контрастом. Лицо менестреля было ясно, как день, лицо же священника – мрачно, подобно ночи. Вокруг широкого, гладкого лба Тельефера вились густые, темнорусые волосы; светло-карие глаза его были живы и веселы, а на губах играла шаловливая улыбка. Священник был совершенно смугл и имел нежные, тонкие черты, высокий, но узкий лоб, по которому тянулись борозды, изобличавшие в нем мыслителя. Он шел тихо и скромно, хотя и не без некоторой самоуверенности среди этого благородного собрания.

Проницательные глаза герцога взглянули на него с изумлением, смешанным с неудовольствием, но к Тельеферу он обратился дружелюбно приветливо.

– Ну, – произнес он, – если ты не пришел с дурными вестями, то я очень рад видеть твое веселое лицо... мне приятнее смотреть на него, чем слышать твою балладу. Преклони колена, Тельефер, преклони их перед королем Эдуардом, но не так неловко, как наш несчастный земляк перед королем Карлом.

Но Эдуард, которому гигантская фигура менестреля так же не нравилась, как и песня его, отодвинулся и сказал:

– Не нужно, великан, мы прощаем тебе, прощаем! Тем не менее Тельефер и священник благоговейно преклонили пред ним колена: потом они медленно поднялись и стали, по знаку герцога, за креслом Фиц-Осборна.

– Отец духовный! – обратился герцог к священнику, пристально вглядываясь в его смуглое лицо, – я знаю тебя и мне кажется, что церковь могла прислать мне аббата, если ей нужно что-нибудь от меня.

– Ого! Прошу тебя, герцога норманнского, не оскорблять моих добрых товарищей! – откликнулся Тельефер. – Быть может, ты еще будешь им довольнее, чем мной: певец может произвести и фальшивые звуки, впечатление которых мудрец сумеет уничтожить.

– Вот как! – воскликнул герцог с мрачно сверкающими глазами. – Мои гордые вассалы, кажется, взбунтовались... Отправляйтесь и ждите меня в моих покоях! Я не желаю портить веселую минуту.

Послы поклонились и тотчас же ушли.

– Надеюсь, что нет неприятных вестей? – спросил тогда король. – В церкви нет никаких недоразумений?.. Священник показался мне хорошим человеком!

– А если б в моей церкви были недоразумения, то мой брат сумеет разъяснить их посредством своего красноречия, – ответил пылко герцог.

– Ты, значит, очень сведущ в церковных канонах, благочестивый Одо? обратился король почтительно к епископу.

– Да, мессир, я сам пишу их для моей паствы, сообразуясь, конечно, с уставами римской церкви, и горе монаху, диакону, или аббату, который бы осмелился перетолковать их по-своему.

На лице епископа появилось такое зловещее выражение, что король слегка вздрогнул. Пир скоро прекратился к величайшему удовольствию нетерпеливого герцога.

Только несколько старых саксонцев и неисправимых датчан остались на своих местах, откуда их вынесли уже в бесчувственном состоянии на мощный двор и усадили рядом возле стены дворца. В таком положении обрели их поутру их собственные слуги, взглянувшие на них с непроизвольной завистью.

Глава II

– Ну, мессир Тельефер, – начал герцог, лежавший на длинной, узкой кушетке, украшенной резьбой, – рассказывай же новости!

В комнате герцога находились еще барон Фиц-Осборн, прозванный гордым духом, державший с большим достоинством перед герцогом широкою белую тунику, которая, по обычаю того времени, надевалась на ночь, вытянувшийся во фронт Тельефер и священник, стоявший немного в стороне со скрещенными на груди руками и мрачным озабоченным взором.

– Могучий мой повелитель, – ответил Тельефер с почтением и участием, вести такого рода, что их лучше высказать в нескольких словах, Бэонез, граф д'Эу, потомок Ришара sans реиг, поднял знамя мятежников.

– Продолжай! – проговорил герцог, сжимая кулаки.

– Генрих, король французский, ведет переговоры с этими непокорными и разжигает бунт; он ищет претендентов на твой славный престол.

– Вот как! – произнес Вильгельм, побледнев от испуга, – это еще не все?

– Нет, это только цветики, ягодки впереди... Твой дядя Маугер, зная твоё намерение сочетаться браком с высокородной Матильдой фландрской, воспользовался твоим отсутствием, чтобы высказаться против него всенародно и в церквах. Он уверяет, что такое супружество было бы кровосмешением, потому что Матильда находится в близком родстве с тобой, не говоря уже о браке ее матери с твоим дядей Ришаром. Маугер грозит тебе, герцог, отлучением от церкви, если ты будешь настаивать на подобном союзе. Вообще, дела так сложны, что я не стал дожидаться конца Совета, чтобы не принести тебе еще худшие вести, а поспешил отправиться, чтобы сказать потомку Рольфа Основателя: «Спаси свое герцогство и вместе с ним невесту!»

– Ого! – воскликнул герцог, с невыразимым бешенством вскакивая с кушетки. – Слышишь, лорд сенешаль? Подобно патриарху, я ждал целых семь лет, желанного союза – и вот какой-то дерзкий надменный монах приказывает мне вырвать любовь из сердца!.. Мне грозят отлучением от святой церкви?.. мне, Вильгельму норманнскому, – сыну Роберта Дьявола?.. Но придет еще день, когда Маугер, конечно, предпочтет увидеть дух моего отца, чем горящее страшным, но справедливым гневом лицо герцога Вильгельма!

– Бойся Бога! – воскликнул внезапно Фиц-Осборн, становясь перед герцогом. – Ты знаешь, что имеешь во мне неизменного друга; не забыл, конечно, как я способствовал твоему сватовству и твоим предприятиям, но я лучше желал бы видеть тебя женатым на беднейшей норманнке, чем в роли отлученного от святой нашей церкви и проклятого папой!

Вильгельм, ходивший в это время по комнате, как разъяренный лев, остановился вдруг перед смелым бароном.

– Это ты говоришь, ты, барон Фиц-Осборн! Знай же, что я сумею проложить себе путь к своей милой невесте одной силой меча, хотя бы все попы и бароны Нормандии стали между нами. На меня нападают? – Ну, пусть нападают. Князья составляют против меня заговоры?! – Я презираю их! Мои подданные бунтуют? – Это сердце умеет и щадить и прощать, и твердая рука не дрогнет, наказывая недостойных прощения!.. Кто же из сильных мира не подвергается подобным неприятностям? Но человек имеет право любить, и кто дерзнет лишать меня этого права, тот будет мне врагом, которому я никогда не прощу, потому что он оскорбит меня в качестве человека. Примите это к сведению, надменные бароны!

– Очень не мудро, что твои бароны надменны, – ответил, покраснев, Фиц-Осборн, не робея, однако, перед гневом герцога. – Они ведь сыновья основателей норманнского государства, смотревшие на Рольфа только как на предводителя свободных воинов. Вассалы твои не рабы... и что мы, твои «надменные» бароны, считаем своей обязанностью относительно

церкви и тебя, герцог Вильгельм, исполним, несмотря на все твои угрозы, которые – да будет тебе известно! – значат для нас то же самое, что мыльные пузыри, пока мы исполняем нашу обязанность и отстаиваем свою свободу.

Герцог кинул на барона такой взгляд, перед которым трус непременно бы задрожал. Жилы на его лбу напряглись до высшей степени и на губах показалась пена. Как ни была велика злоба его, но он должен был тем не менее внутренне сознаться, что нельзя отказать в уважении этому смелому, честному барону, представителю тех гордых, безупречных рыцарей, которые были достойны служить образцом для героев последующих времен. До сих пор Фиц-Осборн почти никогда не противоречил герцогу, а постоянно влиял на Совет в его пользу, и Вильгельм хорошо сознавал, что удар, который он желал бы нанести барону, может опрокинуть его герцогский трон и что противоречие одного из преданнейших его подданных могло быть вызвано только такой силой, с которой его собственная не в состоянии была бы бороться. Ему пришло в голову, что Маугер уже склонил на свою сторону барона Осборна, и он поспешил употребить всю свою изворотливость, чтобы вывести мысли своего преданнейшего друга. Он принял, не без усилия, расстроенный вид и произнес торжественно:

– Если б небо и весь сонм ангелов предсказали мне, что Вильгельм Фиц-Осборн в час грозящей опасности и тяжелой борьбы решится говорить подобные слова своему родственнику и брату по оружию, то я бы не поверил такому предсказанию, но пусть будет, что будет!

Не успели слова эти соскользнуть с губ Вильгельма, как Фиц-Осборн упал перед ним на колени и схватил его руку; по смуглому лицу его текли крупные слезы.

– Прости, прости меня, мой властелин! – воскликнул он с рыданием. Твоя печаль разбила на части мою твердость; моя воля смиряется перед твоею волей; мне нет дела до папы; пошли меня во Фландрию за твоей невестой.

Улыбка, промелькнувшая на бледных губах герцога, доказала, как он мало достоин такой безграничной преданности.

– Встань! – сказал он ему, пожимая с дружелюбием руку – вот как бы всегда следовало говорить брату с братом.

Его гнев еще не остыл: он только подавил его, но он искал исхода; взор герцога упал на нежное задумчивое лицо молодого священника, который несмотря на внушения Тельефера вмешался в эту ссору, сохранял все время глубокое молчание.

– Ага, святой отец! – воскликнул он запальчиво. – Когда мятежник Маугер дал против меня волю своему языку, ты служил своим знанием безмозглому предателю и, насколько я помню, я велел тебя выгнать из моего герцогства.

– Это было не так, мой господин и герцог, – сказал в ответ священник с серьезной и отчасти лукавой улыбкой, – потрудись только вспомнить, что ты прислал мне лошадь, которая должна была отвезти меня на родину. Эта лошадь хромала на все четыре ноги, можно было бы сказать, если б одна из них не была окончательно испорчена болезнью. Я ковылял на ней, когда ты меня встретил; я тебе поклонился и попросил шутливо на латинском наречии взять у меня треножник и заменить его простым четвероногим. Ты отвечал мне милостиво, несмотря на свой гнев, и хоть твои слова осуждали меня, как прежде, на изгнание, но твой смех говорил мне совершенно понятно, что ты меня прощаешь, и я могу остаться.

Разгневанный герцог не мог сдержать улыбки, но, тем не менее, сказал с напускной суровостью:

– Перестань болтать вздор! Я вполне убежден, что ты подослан Маугером или другим лицом из среды духовенства, чтобы усыпить меня медоточивой речью и кроткими внушениями, но ты потратишь их совершенно напрасно. Я чту святую церковь, как ее чтут немногие, – это известно папе. Но Матильда фландрская обручена со мной, и одна из всех женщин разделит мою власть – в руанском ли дворце, или в тесном пространстве моего корабля, который

будет плыть, пока не доплывет и не опустит якорь у берега страны, совершенно достойной подпасть под мою власть.

– Верю, что Матильда фландрская будет украшать собой трон Нормандии, а может быть, и английский престол, – ответил священник тихим, но внятным голосом. – Я переплыл море только в качестве доктора прав и простого священника, чтобы сказать тебе, мой повелитель, что я раскаиваюсь в своем прежнем повиновении Маугеру, что начал ревностно изучать церковные уставы и теперь пришел к убеждению, – что желаемый тобой союз хоть и противоречит букве закона, но подходит под категорию тех браков, которые могут быть разрешены главой церкви.

– Если ты не обманываешь меня, – проговорил герцог, не ожидавший подобного оборота речи, – то ни один прелат, за исключением Одо, не будет возведен так высоко, как ты!

Проницательный Вильгельм пристально взглянул священнику в глаза и потом продолжал:

– Да, сердце говорит мне, что ты не без основательной причины говоришь со мной таким самоуверенным тоном. Я доверяю тебе. Скажи мне твоё имя, я его позабыл.

– Ланфранк из Павии, герцог; в бекском монастыре меня прозвали Лафранком ученым. Не презирай меня только за то, что я, простой священник, осмеливаюсь говорить так прямо. Я дворянин по происхождению, и мои родственники пользуются особенной милостью нашего верховного пастыря, которому и я не безызвестен. Если бы я был честолюбив, то мне стоило только отправиться в Италию, где я бы вскоре приобрел себе известность, но я не добиваюсь ни славы, ни почестей. За свою услугу я прошу у тебя единственно позволения остаться в бекском монастыре.

– Садись, садись же! – приказал герцог, все еще не вполне доверявший Ланфранку, но сильно заинтересовавшийся им. – Ты должен разрешить мне еще одну загадку, прежде чем я безусловно доверюсь тебе. Что побуждает тебя, иностранца, предлагать мне твои услуги безвозмездно?

Глаза ученого сверкнули странным огнем, между тем как смуглые щеки его запыхтели румянцем.

– Я разрешу твоё недоумение, герцог, – отвечал он, – но только позволь мне сперва предложить два вопроса.

Ланфранк обратился к Фиц-Осборну, который сидел у ног герцога и внимательно прислушивался к словам священника. Надменный барон тщетно старался объяснить себе, как этот неизвестный ученый мог обращаться так смело с герцогом.

– Барон Фиц-Осборн, не любишь ли ты славу ради ее самой? – спросил Ланфранк.

– Клянусь душой – да! – проговорил барон.

– А ты, менестрель Тельефер, не любишь ли пение ради его самого?

– Конечно! – сказал великан. – По моему мнению, один звучный стих превосходит своей ценностью все сокровища мира.

– И ты, сердцевед, еще удивляешься, что ученый предается наукам ради самой науки? – обратился Ланфранк снова к герцогу. – Так как я происхожу из знатного, но бедного семейства и вовсе не обладаю физической силой, я засел за книги и вскоре заметил, что в них скрывается и богатство и сила. Мне много рассказывали о даровитом герцоге норманнском, владельце небольшой земли, замечательном полководце и страстном любителе наук. Я отправился в Нормандию, увидел тебя, твоих подданных и припомнил слова Фемистокла: «Я не умею играть на флейте, но могу превратить маленькое государство в большое». Придерживаясь того мнения, что науки могут заслужить уважение народа только тогда, когда ими занимается глава государства, и замечая, что ты, милостивейший герцог, человек не только дела, но и мысли, я неминуемо должен был заинтересоваться тобой... Что касается брака, которого ты так настойчиво добиваешься, то я сочувствую твоему желанию; быть может, это происхо-

дит вследствие того, что я сам когда-то, – на бледных губах Ланфранка промелькнула меланхолическая улыбка, – любил и понимаю, что значит переход от сладостной надежды к безграничному отчаянию... теперь земная любовь угасла во мне. Но, сказать по правде, я более сочувствую герцогу, чем влюбленному. Очень естественно, что я сначала беспрекословно слушался своего Маугера: во-первых, я слушался его в качестве священника, а во-вторых, потому, что за него стоял закон. Когда же я решился остаться в твоём герцогстве, несмотря на приказание удалиться, то дал себе слово помочь тебе: я начал сознавать, что на твоей стороне право человека... Герцог! Союз с Матильдой фландрской утвердит твой трон и, чего доброго, поможет тебе завладеть ещё новым скипетром. Так как твоё герцогское достоинство ещё не вполне признано, то тебе необходимо соединиться узами родства с древними линиями императоров и королей. Матильда фландрская происходит от Карла Великого и Альфреда; Франция угрожает тебе войной, женись на дочери Балдуина, племяннице Генриха французского, и враг, породнившись с тобой, поневоле сделается твоим союзником. Это ещё не все. Видя эту Англию, в которой царствует бездетный король, любящий тебя более самого себя это дворянство, дарящее своей благосклонностью то датчан, то саксонцев, и народ, не обращающий внимания на древний род... видя все это, тебе, конечно, не раз приходило в голову, что нетрудно будет норманнскому герцогу сесть на английский престол. Матильда также в родстве с королем Эдуардом, что тоже немаловажно для тебя... Довольно ли я сказал, чтобы доказать, как хорошо было бы, если бы папа ослабил слегка строгость церковных уставов? Ясно ли тебе теперь, что могло бы побудить меня присоветовать римскому двору относиться более сочувственно к твоей любви и увеличению твоего могущества? Понял ли ты, что и смиренный священник может смотреть на дела сильных мира сего глазами человека, умеющего сделать маленькое государство большим?

Вильгельм не был в состоянии отвечать: он смотрел с каким-то суеверным ужасом на маленького ломбардца, так ловко проникнувшего во все тайны и тонкости той политики, которая примешивалась к его страстной любви. Ему казалось, что он слышит отголосок своего собственного сердца – так верно угадал Ланфранк его самые заветные мысли.

Священник продолжал:

– Вот я и подумал: «Ланфранк, пришло время доказать, что ты, слабый бедняк, недаром пришел к убеждению, что знание может больше способствовать успеху политических предприятий, чем полная сокровищница и громадные армии»... Да, я твердо верю во всемогущество науки! Из сказанного бароном ты можешь понять, что лишишься всех своих баронов, если папа отлучит тебя от церкви. Не только это случится, но и армии твои исчезнут тогда, а сокровища, накопленные тобой, уравниются в цене с блеклыми листьями... Кроме того, герцог бретонский заявит претензию на норманнский трон, а герцог бургундский заключит союз с королем французским и соберет изменившие тебе легионы под хоругвь римской церкви. Как только над тобой прозвучит анафема, ты потеряешь корону и скипетр.

Вильгельм тяжело вздохнул и стиснул зубы.

– Но пошли меня в Рим, – продолжал ученый, – и угрозы Маугера окажутся ложными. Женись тогда на Матильде и смейся над интердиктом твоего дяди-изменника; поверь, что папа благословит твое брачное ложе, если я возьмусь за дело. Когда ты убедишься, что я сдержал свое слово, то не награждай меня повышением сана, а способствуй умножению полезных книг, учреждай больше школ и позволь мне, своему слуге, основать царство наук так же, как ты положишь основание царству непобедимых воинов.

Герцог, вне себя от восхищения, вскочил и крепко сжал ученого в объятиях. Он поцеловал его так называемым поцелуем мира, которым в то время короли приветствовали друг друга.

– Ланфранк! – воскликнул он. – Знай, что я буду всегда любить тебя, буду всегда благодарен тебе, если б даже твое прекрасное намерение не удалось!.. Слушая тебя, невольно краснею, припоминая, с какой гордостью я хвастался тем, что никто не в состоянии натянуть

тетиву моего лука... Что значит телесная сила? Ее нетрудно парализовать теми или другими средствами, но ты... о, дай мне хорошенько полюбоваться тобой!

Вильгельм долго всматривался в бледное лицо Ланфранка, внимательно оглядел его маленькую, худенькую фигурку и потом обратился к барону со словами:

– Не совестно ли тебе перед этим крошечным человечком?.. Ведь настанет день, когда он будет попирать в прах наши железные панцири!

Он задумался и, пройдя несколько раз взад и вперед по комнате, остановился перед нишей, в которой стояло Распятие и образ Богородицы.

– Вот это так, принц, – проговорил ученый. – Ты теперь стоишь перед символом неограниченного могущества. Жди же тут разрешения всех загадок и обдумай, какую ответственность ты принимаешь на себя. Мы оставляем тебя, чтобы не мешать тебе молиться и размышлять.

Ланфранк взял под руку Тельефера и, с глубоким поклоном барону, вышел из комнаты.

Глава III

На следующее утро герцог долго беседовал с глазу на глаз с Ланфранком, этим замечательным ученым, который один стоил всех мудрецов Греции, и после этой беседы приказал своей свите готовиться в обратный путь.

Громадная толпа глазела на выступившую из ворот дворца кавалькаду, которая ожидала сигнала, чтобы следовать за герцогом. Во дворе дворца стояли лошадь герцога, снежно-белый бегун епископа Одо, серый жеребец Фриц-Осборна и, к чрезвычайному удивлению всех зевак, еще маленький, просто оседланный конь. Как мог он попасть сюда? Гордые бегуны даже стыдились его соседства: лошадь герцога наострила уши и громко ржала; жеребец барона хватил бедного, невзрачного коня копытом, когда тот приблизился к нему, чтобы завести знакомство, а бегун прелата кинулся на него с таким бешенством, что вызвал вмешательство берейторов.

Герцог между тем медленно шел на половину короля. Приемная Эдуарда была наполнена монахами и рыцарями. Из всего собрания особенно кидался в глаза какой-то высокий старик, борода и одежда которого выказывали в нем одного из тех бесстрашных воинов, которые сражались под знаменами Канута Великого или Эдмунда, прозванного Иронзидом⁵. Вся внешность его была до такой степени оригинальна, что герцог при виде его пробудился из своей задумчивости и обратился к подбежавшему к нему Рольфу с вопросом, что это за человек, который не представился ему, хотя, очевидно, принадлежит к числу избранных?

– Как? Ты не знаешь его?! – воскликнул живо Рольф. – Да это ведь знаменитый соперник Годвина... Это великий датский герой, настоящий сын Одина – Сивард, граф нортумбрийский.

– О, вот это кто! – воскликнул герцог. – Я много слышал о нем лестного и чрезвычайно сожалел бы, если б пришлось оставить веселую Англию, не насладившись его лицезрением.

С этими словами герцог снял берет и, приблизившись к герою, приветствовал его самыми изысканными комплиментами, которым он уже успел научиться при французском дворе.

Суровый граф холодно выслушал герцога до конца и ответил на датском языке:

– Не взыщи, герцог, если мой старый язык не привык выражаться так изящно, как твой. Если не ошибаюсь, то мы оба происходим из скандинавской земли, и поэтому ты, конечно, не будешь гневаться на меня, если я буду говорить с тобой на наречии викингов⁶. Дуб не пересаживается в другую почву, и старики не отрекаются от своей родины.

Герцог, с трудом понявший речь графа, прикусил губы, но все-таки ответил по возможности вежливо:

– Молодые люди всех наций с удовольствием поучаются мудрости у знаменитых старцев. Мне очень совестно, что я не могу говорить с тобой языком наших предков, но я утешаюсь мыслью, что ангелы на небесах понимают норманнского христианина, и прошу их мирно окончить твоё славное поприще.

– Не молись за Сиварда, сына Берна! – воскликнул торопливо старик. – Я желаю умереть не смертью коровы, а смертью воина, в крепком панцире и шлеме, с мечом в руках. Так я и умру, если король Эдуард исполнит мою просьбу и примет мой совет.

– Скажи мне свое желание... Я имею на короля влияние.

– О, да не допустит Один, чтобы иностранный принц имел влияние на английского короля и таны нуждались бы в заступничестве кого бы то ни было! – возразил старик угрюмо. – Если Эдуард действительно святой, то совесть подскажет ему, что меня нечего удерживать от борьбы с порождением ада.

⁵ Иронзид означает железное ребро.

⁶ Морские короли.

Герцог вопросительно взглянул на Рольфа, который поспешил дать ему желаемое объяснение.

– Сивард просит дядю заступиться за Малькольма кимрского против тирана Макбета, – сказал он. – Не надейся изменник Годвин таких неприятностей королю, то он уж давно-давно бы послал свои войска в Шотландию.

– Молодой человек, ты напрасно называешь тех изменниками, которые, несмотря на все свои пороки и преступления, возвели одного из твоих родственников на престол Канута, – заметил Сивард.

– Ш-ш-ш, Рольф! – остановил его герцог, замечая, что вспыльчивый граф гирфордский готовится дать старику чересчур резкий ответ. – Мне, однако, казалось, – продолжал он, снова обратившись к датчанину, – что Сивард заклятый враг Годвина.

– Да, я был его врагом, пока он был могуч, но сделался его другом с тех пор, как ему причинили вопиющую несправедливость, – ответил Сивард. Когда мы с Годвином будем лежать в сырой земле, то останется только один человек, который сумел бы защитить Англию от всякой опасности... Этот человек – Гарольд, опальный.

Несмотря на самообладание герцога, лицо его сильно изменилось и он ушел, едва кивнув головой.

– Ох! Уж этот мне Гарольд, – бормотал он про себя. – Все храбрецы толкуют мне о нем, как о каком-то феномене; даже мои рыцари волей-неволей преклоняются перед ним... Мало этого: сами враги его относятся к нему с уважением... Он властвует над Англией, даже находясь в изгнании!

Рассуждая таким образом, герцог угрюмо прошел мимо присутствующих и, отстранив придворного, который хотел доложить о нем, вошел в кабинет короля.

Эдуард был один, но громко разговаривал сам с собой, размахивал руками и, вообще, так не походил на себя в эту минуту, что Вильгельм в ужасе отступил перед ним. Герцог слышал стороной, будто король в последние годы часто имел какие-то видения: казалось, что и теперь представляется ему нечто ужасное. Окинув герцога каким-то полоумным взглядом, король закричал страшным голосом:

– О, Господи! Санглак, Санглак!.. озеро наполнилось кровью... Волны поднимаются все выше и выше! Они все более краснеют! О, Фрея!.. Где ковчег, где Арагат?..

Эдуард судорожно стиснул руку герцога и продолжал:

– Нет, там горами навалены мертвые тела... много, много их там!.. А тут конь Апокалипсиса топчет в крови мертвые тела!

Сильно перепуганный, Вильгельм поднял короля и положил его на парадную постель.

Через несколько минут Эдуард стал приходить в себя и, очнувшись, как казалось, ничего не помнил из происходившего с ним.

– Благодарю, Вильгельм, – сказал он. – Ты разбудил меня от несвоевременного сна... Как ты чувствуешь себя?

– Позволь мне лучше спросить о твоём здоровье, дорогой брат! Ты, кажется, видел дурной сон?

– О, нет! Я спал так крепко, что не мог видеть ничего во сне... Но что это значит? Ты одет по-дорожному?!

– Разве Одо не сообщал тебе, какого рода новости принуждают меня к отъезду?

– Да, да... я начинаю припоминать, что он говорил мне об этом, ответил король, водя своей бледной рукой по лбу. – Ах, бедный брат мой, тяжело носить корону!.. Отчего бы нам не удалиться в какой-нибудь храм и отложить все земные попечения, пока еще не поздно?

– Нет, Эдуард, это будет лишнее, – возразил герцог с улыбкой, качая головой. – Я пришел к убеждению, что жестоко ошибаются те, которые воображают, будто под одеждой друида

сердце бьется спокойнее, чем под панцирем воина или под царской мантией... Ну, теперь благослови меня в путь!

Герцог опустился на колени перед королем, который благословил его, встал и ударил в ладоши. По этому знаку из молельни, находившейся рядом, появился монах.

– Отец, приготовил ли Гюголайн, мой казначей, все, что я велел? спросил король.

– О, да! Сокровищница, гардеробная, сундуки, конюшни и сокольничья почти совсем опустошены, – ответил монах, кидая весьма недружелюбный взгляд на герцога норманнского, в черных глазах которого вспыхнуло пламя алчности.

– Я не хочу, чтобы ты и твои спутники ушли от меня с пустыми руками, обратился Эдуард с нежностью к герцогу. – Твой отец когда-то приютил меня у себя, когда я был изгнанником, и я не забыл этой услуги... Мы, быть может, больше не увидимся. Я становлюсь уж дряхл... Бог знает, кто после меня сядет на усеянный терниями английский престол!

Вильгельму очень хотелось напомнить королю высказанный последним еще прежде слабый намек на то, что именно герцог норманнский наследует этот «усеянный терниями» трон, но присутствие монаха, а также беспокойный взгляд Эдуарда удержали его от этого намерения.

– Дай Бог, чтобы между нами и нашими подданными царствовала вечная любовь! – добавил король.

– Аминь! – произнес герцог. – Я очень доволен, видя, что ты, наконец-то, избавился от тех гордых мятежников, которые так долго лишали тебя покоя!.. Вероятно, Годвин никогда больше не будет играть прежней роли при дворе?

– Ах, будущее в руках Ведена! – ответил тихо король. – Впрочем, Годвин очень стар и убит горем!

– Больше самого Годвина надо опасаться его сыновей, в особенности же Гарольда!

– Гарольда?!.. Гарольд был самым покорным из всего этого семейства... душа моя скорбит о Гарольде, – сказал король с тяжелым вздохом.

– От змеи могут произойти только змееныши, – заметил Вильгельм наставительным тоном. – Ты должен раздавить их всех своей пятой.

– Ты, пожалуй, прав, – ответил слабохарактерный король, который вечно поддавался чужому влиянию. – Пусть же Гарольд остается в Ирландии: так-то лучше будет для всех!

– Да, для всех! – повторил Вильгельм многозначительно. – Итак, да хранит тебя Бог, мой добрый король!

Он поцеловал руку Эдуарда и пошел к ожидавшей его свите.

Вечером того же дня он уже был далеко от Лондона. Рядом с ним ехал Ланфранк на своем невзрачном коне, а за свитой следовал целый табун навьюченных лошадей и тянулся громадный обоз: щедрый король Эдуард, действительно, не отпустил герцога с «пустыми руками».

Из всех городов, по которым гонцы разнесли весть о проезде герцога, ему навстречу выходили сыновья лучших английских семейств. Они горели нетерпением увидеть знаменитого полководца, который в шестнадцать лет уже ехал во главе армии. Все они были одеты в норманнский костюм. Вообще, герцог встречал повсюду настоящих норманнов или желающих быть ими, так что он однажды, когда из Доверской крепости вышел встречать его отряд воинов, впереди которого несли норманнское знамя, не мог удержаться от вопроса:

– Уж не сделалась ли Англия частью Нормандии?

– Да, плод почти созрел, – ответил ему Ланфранк, – но не спеши срывать его: самый легкий ветерок и без того кинет его к твоим ногам.

– Но есть ветер, который может бросить его к ногам другого, – заметил мрачно герцог.

– А именно? – любопытствовал Ланфранк.

– Ветер, дующий с ирландского берега и попутный Гарольду, сыну Годвина.

– Почему ты опасешься этого человека? – спросил ученый с нескрываемым изумлением.

– Потому что в груди его бьется английское сердце, – ответил герцог.

Часть третья Семейство Годвина

Глава I

Все исполнялось по желанию Вильгельма норманнского. В одно и то же время он сдерживал надменных вассалов и могучих врагов и вел к венцу прекрасную Матильду фландрскую. Все случилось, как предрекал Ланфранк. Самый непримиримый враг герцога, король французский, перестал строить козни против своего нового родственника, а все соседние государи сказали: «Незаконный сын стал нашим братом, с тех пор как обвенчался с внучкой Карла Великого». Англия усваивала с каждым днем все более и более норманнские нравы, а Эдуард становился с каждым днем все слабее и слабее. Для герцога норманнского не оставалось более никакой преграды к английскому престолу, но... подул новый ветер и надул ослабевшие паруса Гарольда.

Суда его явились в устья Серена. Жители Сомерсета и Дэвона, народ робкий и по большей части кельтического племени, не любя саксонцев, вышли против него. Но Гарольд обратил их в бегство, перебив при этом более тридцати отважных танов.

Между тем Годвин и сыновья его, Свен, Тостиг и Гурт, нашли приют в той самой Фландрии, откуда Вильгельм взял супругу (Тостиг еще прежде женился на сестре Матильды и, следовательно, был графу Балдуину таким же зятем, как и Вильгельм). Они не просили помощи у Балдуина, но сами собрали дружину и расположились в Бригте, предполагая соединиться с Гарольдом. Эдуард, узнав об этом от герцога Вильгельма, не спускавшего глаз с изгнанников, велел снарядить сорок кораблей и отдал их под начальство графа Гирфорда. Корабли стояли в Сандвиче и стерегли Годвина, но старый граф сумел ускользнуть и вскоре высадился на южном берегу. Войско, занимавшее Гастингскую крепость, с восторженными криками отворило ему ворота.

Все корабельщики, моряки из далеких и близких стран, массами сбегались к нему с парусами, веслами и оружием.

Весь Кент, главный рассадник саксонцев, воскликнул единодушно: «На жизнь и на смерть за графа Годвина!» По всей стране мчались вдоль и поперек графские гонцы, и отовсюду в один голос откликались воины на зов детей Горзы: «На жизнь и на смерть за графа Годвина!» Корабли Эдуарда обратились назад и поплыли на всех парусах к Лондону, а флот Гарольда беспрепятственно продолжал путь. Старый граф увиделся снова с сыном на палубе корабля, на котором развевался некогда датский флаг.

Медленно поднялся флот вверх по Темзе, умножаясь на пути. По обоим берегам шли в беспорядке толпы вооруженных людей.

Эдуард послал за новым подкреплением, но оно подоспело не скоро на призыв.

Флот графа добрался почти до башни Юлия в Лондоне и, бросив якорь против Соутварка, стал ждать прилива. Едва граф успел построить войска, как прилив наступил.

Глава II

Эдуард сидел в приемной палате вестминстерского дворца, в королевских креслах. На голове его блестела корона с тремя необделанными драгоценными камнями в виде тройных трилистников, в правой руке он держал скипетр. Королевская мантия, плотно застегнутая вокруг шеи широкой золотой застежкой, спускалась роскошными складками на ноги. В палате находились таны, правители и другие сановники. Это было не собрание народных витанов, а военный совет, одна треть которого состояла из норманнов: высокородных графов, рыцарей и так далее.

Эдуард глядел настоящим королем, обычная кротость исчезла с его лица, и тяжелая корона бросала тень на его как будто бы нахмуренные брови. Дух его, казалось, сбросил с себя бремя, унаследованное им от своего отца, Этельреда-Медлительного, и возвратился к более чистому и свежему источнику своих храбрых предков. В это время он мог гордиться своим родом и был вполне достоин держать скипетр Альфреда и Этельстана.

Он открыл заседание следующей речью:

– Достойные и любезные эльдермены, графы и таны Англии, и благородные, любезные друзья, графы и рыцари Нормандии, родины моей матери! Внемлите словам нашим, милостью Всевышнего Бога, Эдуарда, короля английского. Мятежники заняли Темзу. Отворите окна – и вы сами увидите блеск их щитов на судах, и до вас донесется говор их войск. До сих пор еще не выпущено ни одной стрелы, не обнажены мечи, а между тем на той стороне реки находится наш флот, а вдоль берега, между дворцом и лондонскими воротами, выстроены наши полки. Мы удерживались до сих пор потому, что изменник Годвин просит мира, посланный его ждет у входа. Угодно ли вам выслушать его, или же нам отпустить его, не выслушав никаких предложений, и немедленно взяться за оружие?

Король замолк. Левой рукой он крепко стиснул львиную голову, изваянную на ручке его кресла, а правая все еще твердо держала скипетр.

По рядам норманнов прошел глухой ропот. Но как ни высокомерны были пришельцы, никто из них не осмеливался возвысить голоса прежде англичан, когда дело шло об опасности для Англии.

Медленно встал Альред винчестерский, достойнейший из всех сановников государства.

– Государь, – произнес он, – грешно проливать кровь своих единокровных братьев, и это извиняется только в случае крайней необходимости, а мы этой необходимости еще не видим. Печально пронесется по Англии весть, что совет короля предал, может быть, огню и мечу весь Лондон, между тем как одного слова, сказанного вовремя, было бы достаточно для обезоружения неприятельских войск и обращения грозного мятежника в верного подданного. Мое мнение – выслушать посланного.

Едва Альред сел на место, как вскочил норманн Роберт кентерберийский, по словам современников, человек очень образованный.

– Выслушать посланного – значит одобрять мятеж, – сказал он. – Умоляю тебя, государь, следовать движению своего сердца и голосу чести. Подумай: с каждой минутой замедления растут силы изменника, укрепляется мятеж. Неприятель пользуется каждым мгновением, чтобы привлечь на свою сторону ослепленных граждан. Отлагательство доказывает нашу слабость: королевское имя – непреодолимая крепость, сильная властью короля. Повели выступить не на бой, я этого не называю боем, а на казнь и расправу.

– Как думает мой брат, Роберт кентерберийский, так думаю и я, прибавил Вильгельм лондонский, тоже норманн.

В это мгновение приподнялся человек, перед которым затихло все. Это был седой богатырь, Сивард, сын Беорнов, граф нортумбрийский, – будто памятник прошедших веков возвысился он над блестящим собранием.

– Нам нечего толковать с норманнами, – начал он. – Будь они на реке, а в этой палате были бы собраны одни наши соотечественники – датчане и саксонцы, то выбор короля был бы одобрен единодушно, и я первый назвал бы предателем того, кто заговорил бы о мире. Но когда норманн советует жителям Англии убивать своих братьев, я не обнажу меча по его приказанию. А кто дерзнет сказать, что Сивард, Крепкая Мышца, внук Берсеркера, отступал когда-либо перед неприятелем?.. Сын Этельреда, в твоих палатах заседает враг; за тебя стою я, когда отказываюсь повиноваться норманну! Ратные братья, родные по крови и языку, датчане и саксонцы, вы, давно уж сроднившиеся, давно гордящиеся и Великим Канутом и Мудрым Альфредом, выслушайте посланного от Год на, нашего земляка. Он, по крайней мере, будет говорить нашим языком, он знает наши законы. Если требование его справедливо, так что король может его уважить, а Витан – выслушать, то горе тому, кто откажет! Если же оно несправедливо, то да будет стыдно тому, кто на него согласится! Воин посылает посла к воину, земляк – к земляку: выслушаем как земляки, будем судить как воины. Я кончил.

Шум и волнение последовали за речью графа нортумбрийского, единодушно одобрили ее саксонцы, даже те, которые в мирное время подчинялись норманнскому влиянию. Но гнев и негодование норманнов были невыразимы. Они громко заговорили все вместе, и совещание продолжалось среди ужасного беспорядка. Большинство, однако, было на стороне англичан, и перевес их был несомненным. Эдуард, с редкой твердостью и присутствием духа, решился прекратить спор: протянув скипетр, он приказал ввести посланного.

После запальчивой досады норманнов, последовало уныние и страх: они очень хорошо понимали, что необходимым следствием, если даже не условием, переговоров будет их падение и изгнание.

В конце залы отворилась дверь и вошел посланный. Это был средних лет широкоплечий мужчина, в длинном широком кафтане, бывшем прежде народным одеянием саксонцев, но в это время вышедшем уже из употребления. Он имел серые спокойные глаза и густую окладистую бороду. Он был одним из вождей кентской области, где предубеждение против иноземцев достигло высшей степени и поселяне которой считали своим наследственным правом стоять в битвах всегда в первом ряду.

Войдя в палату, он поклонился Совету и затем, становившись в почтительном расстоянии от короля, преклонил перед ним колена. Он не считал это унижением, потому что король был потомком Ведена и Генгиста. По знаку и приглашению короля посланный не вставая проговорил:

– Эдуарду, сыну Этельреда, милостивому нашему королю, Годвин, сын Вольнота, шлет верноподданнический и смиренный поклон чрез посланного из рода танов Веббу. Он просит короля милостиво выслушать его и судить милосердно. Не на короля идет он с оружием, а на тех, которые стали между королем и его подданными, на тех, которые сумели посеять семя раздора между родственниками, вооружили отца против сына, разлучили мужа с женой...

При последних словах скипетр задрожал в руке Эдуарда и лицо его приняло суровое выражение.

– Государь, – продолжал Вебба, – Годвин умоляет смиренно снять с него и его родных несправедливый приговор, осуждающий их на изгнание, возвратить ему и сыновьям принадлежащие им поместья. Более же всего умоляет он возвратить то, чего они всегда старались удостоиться усердной службой милость законного государя, и поставить их снова во главе хранителей английских законов и преимуществ. Если эта просьба будет уважена, суда возвратятся в свои гавани, таны вернуться в свою отчизну, а сеорли – к сохе; у Годвина нет чужеземцев: сила его заключается в одной любви народа.

– Это все? – спросил Эдуард.

– Все.

– Удались и жди нашего ответа. Вебба вышел в прихожую, где стояло несколько норманнов, вооруженных с головы до ног, которым молодость или звания не позволяли входить в залу Совета, но которые тем не менее сильно интересовались результатом происходивших совещаний, так как уже успели захватить не один добрый клочок из имущества изгнанников. Все они жаждали битвы и с нетерпением ожидали решения. В их числе находился и Малье де-Гравиль.

Молодой рыцарь, как мы уже видели, соединял с норманнской удалью и норманнскую сметливость. После отъезда Вильгельма он не пренебрег изучением местного языка, в надежде променять в этой новой стране заложенную башню на побережье Сены на какое-нибудь богатое баронство близ величавой Темзы. В то время как надменные его соотечественники сторонились с безмолвным презрением от Веббы, Малье де-Гравиль подошел к нему и спросил по-саксонски чрезвычайно приветливо:

– Могу ли я узнать результат твоего посольства от мятеж... виноват! от доблестного графа?

– Я и сам жду его, – ответил сухо Вебба.

– Тебя, однако же, выслушали.

– Да, это было так.

– Милостивый государь, – сказал де-Гравиль, смягчая свой обычный ироничный тон, унаследованный им, может быть, от своих прадедов по матери, франков. – Любезный миротворец, скажи мне откровенно: не требует ли Годвин, в числе других весьма благоразумных условий, головы твоего покорного слуги... не называя, конечно, его имени, потому что оно не дошло до него, а в качестве лица, принадлежащего к несчастному племени, называемому норманнами.

– Если б граф Годвин, – ответил Вебба, – ставил месть, как условие к заключению мира, он бы выбрал для этого не меня, а другого. Граф требует единственно своей законной собственности, твоя же голова не входит, вероятно, в состав его недвижимых и движимых имуществ!

– Твой ответ утешителен, – сказал Малье. – Благодарю тебя, мой почтенный саксонец!.. Ты говорил, как храбрый и вполне честный малый; если придется нам умереть под мечами, как надобно предвидеть, я сочту большим счастьем пасть от твоей руки. Я способен любить после верного друга исключительно только отважного врага.

Вебба невольно улыбнулся. Нрав молодого рыцаря, его беззаботная речь и наружность приходились ему совершенно по вкусу, несмотря на его предубеждение против норманнов.

Малье, ободренный этой улыбкой, сел к длинному столу и приветливо пригласил Веббу последовать его примеру.

– Ты так откровенен и приветлив, – обратился он к нему, – что я намерен побеспокоить тебя еще двумя вопросами.

– Говори, я их выслушаю!

– Скажи мне откровенно, за что вы, англичане, любите графа Годвина и хотите внушить королю Эдуарду ту же приязнь к нему? Я предлагал уже не раз этот вопрос, но в этих палатах я едва ли дождусь ответа на него. Годвин несколько раз переходил внезапно от одной партии к другой. Он был против саксонцев, потом против Канута. Канут умер – и Годвин поднимает уж снова оружие на саксонцев, уступает совету Витана и принимает сторону Гардиканута и Гарольда, датчан. В то же время юные саксонские принцы Эдуард и Альфред получают подложное письмо от своей матери, в котором их зовут настоятельно в Англию, обещая им там полнейшее содействие. Эдуард, повинувшись безотчетному чувству, остается в Нормандии, но Альфред едет в Англию... Годвин его встречает в качестве короля... Постой, выслушай далее!.. Потом этот Годвин, которого вы любите, перевозит Альфреда в Гильдфордскую усадьбу – будь она проклята! В одну глухую ночь клеветы короля Гарольда хватают внезапно

принца и его свиту, всего шестьсот человек, а на другой же день их всех, кроме шестидесяти, не говоря о принце, пытаются и казнят. Альфреда везут в Лондон, лишают его зрения – и он умирает с горя! Если вы, несмотря на такие поступки, сочувствуете Годвину, то, как это ни странно, но все ж возможно... но возможно ли, любезный посол, королю любить человека, который погубил его родного брата?

– Все это норманнские сказки! – проговорил тан с некоторым смущением. – Годвин уже очистился от подозрения в этом гнусном убийстве.

– Я слышал, что очищение это подкреплено подарком Гардиканута, который по смерти Гарольда думал было отомстить за это убийство. Подарок состоял, будто бы, в высеребренном корабле с восьмьюдесятью ратниками, с мечами о золотых рукоятках и в вызолоченных шлемах... но оставим все это.

– И подлинно, оставим, – повторил вздохнув посланный. – Страшные то были времена и мрачны их тайны!

– Но все-таки ответь мне: за что вы любите Годвина? Сколько раз он переходил, от партии к партии и при каждой перемене выгадывал новые почести и поместья. Он человек честолюбивый и жадным, в этом вы сами должны сознаться. В песнях, которые поют у нас на улицах, его уподобляют терновнику и репейнику, на которых овца оставляет шерсть, кроме того, он горд и высокомерен. Скажи же мне, мой откровенный саксонец, за что вы любите Годвина? Я желал бы это знать, потому что, видишь ли, я располагаю жить и умереть в вашей веселой Англии, если на то будет ваше и вашего графа согласие. Так не мешало бы мне знать, что делать для того, чтобы быть похожим на Годвина и, подобно ему, приобрести любовь англичан?

Простодушный тан казалось был в ужасном недоумении, погладив задумчиво бороду, он проговорил:

– Хотя я и из Кента, следовательно из графства Годвина, я вовсе не из числа самых упорных приверженцев его, поэтому-то собственно он и выбрал меня в переговорщики. Те, которые находятся при нем, любят его, вероятно, за щедрость в наградах и покровительство. К старости великого вождя льнет благодарность, как мох к дубу. Но что касается меня и моей братии, мирно живущей в своих селах, избегающей двора и не мешающейся в распри, то мы дорожим Годвином только как вещью, а не как человеком.

– Как я ни стараюсь понять тебя, – сказал молодой норманн, – но ты употребляешь выражения, над которыми задумался бы мудрый царь Соломон. Что разумеешь ты под Годвином, как вещью?

– Да то, выражением чего Годвин служит нам: мы любим справедливость, а каковы бы ни были преступления Годвина. Он был изгнан несправедливо. Мы чтим свои законы. Годвин навлек на себя невзгоду тем, что поддерживал их. Мы любим Англию, а нас разоряют чужеземцы. В лице Годвина обижена вся Англия и... извини, чужеземец, если я не dokonчу своей речи!

Вебба взглянул на молодого норманна с выражением искреннего сострадания и, положив свою широкую руку на его плечо, шепнул ему на ухо:

– Послушай моего совета и беги!

– Бежать? – воскликнул рыцарь. – Да разве я надел доспехи и опоясал меч, чтобы бежать, как трус?

– Все это не поможет! Оса зла и свирепа, но весь рой погибает, когда под него подкладывают зажженную солому. Еще раз говорю тебе: беги, пока не ушло время, и ты будешь спасен, потому что если король послушается безрассудного совета и вздумает разделаться с этой толпой оружием, то не пройдет дня, как уже не будет ни одного норманна на десять миль вокруг города. Помни мои слова, молодой человек!.. У тебя, может быть, есть мать... не заставь же ее оплакивать смерть сына!

Рыцарь приискивал саксонские слова, чтобы вежливо высказать свое негодование на подобный совет, и хотел протестовать против предположения, будто он мог послушаться его из сострадания к матери, но в это время Вебба был опять позван в присутствие. Он уже не выходил больше в прихожую, а, получив короткий ответ Совета, прошел прямо на главную лестницу дворца, сел в лодку и тотчас же отправился на корабль, где находились граф и его сыновья.

Между тем Годвин изменил положение своих сил.

Сначала флот его, пройдя лондонский мост, стал на время у берега южного предместья, названного впоследствии Соутварком, флот же короля Эдуарда выстроился вдоль северного берега. Но, постояв несколько, графские корабли повернули назад и остановились против вестминстерского дворца и, склоняясь немного к северу, как будто хотели запереть королевский флот. В то же время сухопутные силы его придвинулись к реке и стали почти на выстрел от королевской армии. Таким образом, кентский тан видел перед собой, на реке, оба флота, на берегу же – оба войска на таком близком расстоянии друг от друга, что их едва можно было различить один от другого.

Над всеми прочими судами возвышался величественный корабль, на котором приплыл Гарольд с ирландских берегов. Корабль этот был построен по образцу старинных морских кораблей и, на самом деле, принадлежал некогда одному из этих грозных витязей. Длинный выпуклый нос высоко поднимался над волнами, будто голова морского змея и, как змей же, извивался по волнам и блестел на солнце.

Лодка пристала к высокому борту корабля, с него спустился трап, и через несколько секунд тан очутился на палубе. На противоположном конце корабля, на почтительном расстоянии от графа и его сыновей, стояла группа матросов.

Сам Годвин был почти не вооружен, без шлема и имел при себе одно только позолоченное датское копьё – оружие, служившее столько же для украшения, сколько и для войны, но широкая грудь рыцаря прикрывалась крепкой кольчугой. Ростом он был ниже всех своих сыновей и, вообще, наружность его не выказывала большой физической силы, как это обыкновенно бывает у человека крепкого сложения, который до преклонных лет сохранил всю силу энергии и воли. Даже народный голос не приписывал ему тех чудесных телесных качеств и подвигов богатырства, которыми славился его соперник Сивард. Он был отважен, но только как полководец: дарования, которыми он отличался перед всеми своими современниками, соответствовали понятиям более просвещенных веков, чем условиям той эпохи, в которой он жил. Англия была в то время едва ли не единственной страной на свете, которая могла открыть достойное поприще его способностям. Он обладал в высшей степени всеми качествами, необходимыми для вождя партии: умел управлять народными массами и согласовывать их мысли и желания с собственными своими видами. Наконец, он обладал увлекательным даром слова.

Но, как все люди, прославившиеся даром красноречия, Годвин увлекался духом своего времени, олицетворял в себе его страсти и предубеждения и вместе с тем – тот инстинкт собственной выгоды, составляющий отличительную черту толпы. Он был высшим представителем стремлений и потребностей своего народа. И какие бы ни были ошибки, а быть может, и преступления его счастливого и блестящего поприща, в самых мрачных и ужасных обстоятельствах, он постоянно являлся народу благотворным светилом среди грозных туч. Никто никогда не обвинял его в жестокости или несправедливости к народу. Англичане смотрели на него, как на истинного англичанина, несмотря на то, что он в молодости был приверженцем Канута и ему был обязан своим богатством и счастьем. Они даже не придавали этому значения, потому что датчане и саксонцы так слились в Англии, что, когда одна половина королевства признала Канута, другая половина с восторгом подтвердила выбор. Строгости первых лет царствования Канута были искуплены мудростью и кротостью последующих лет и редкой приветливостью его к приближенным; притом в это время все неудовольствия были уже забыты

и в памяти подданных сохранилась только слава его царствования и его доблести. Народ с гордостью и с любовью поминал его имя и тем более уважал Годвина, что он был любимым советником мудрого государя.

Известно также, что Годвин, по смерти Канута, желал восстановить на престоле саксонскую линию и если покорился решению Витана, то единственно из уважения к народной воле. Одно только подозрение пятнало его имя – и этого не могли совершенно смыть ни очистительная клятва, ни оправдание народного судилища – подозрение в гнусной выдаче Альфреда, брата Эдуарда.

Но прошло уже много лет со дня совершения этого мрачного злодеяния и во всем народе было тайное предчувствие, что с домом Годвина связана судьба английского народа. Наружность графа говорила в его пользу: он имел широкий лоб, осененный спокойной, кроткой думой; темно-голубые глаза, ясные и приветливые, несмотря на то, что самый пронизательный взор не прочел бы выражавшейся в них глубокой затаенной мысли; редкое благородство осанки и приемов, но без всякой чопорности и жеманства. Общее мнение приписывало ему чрезвычайную гордость и высокомерие, но только в поступках. Обхождение же его со всеми было просто, приветливо и дружелюбно. Сердце его, казалось, всегда сочувствовало ближнему, и дом его был открыт для нуждающихся.

За ним стояли его сыновья, группа витязей, какими не мог еще, может быть, похвалиться ни один отец. Их лица были резко различны одно от другого, но природа наделила их одинаковой цветущей красотой и богатырским складом.

Свен, старший сын, наследовал смуглый цвет своей матери-датчанки. В крупных правильных чертах его, носивших отпечаток печали или страстей, было какое-то дикое и грустное величие; черные, шелковистые волосы падали в беспорядке и почти закрывали впалые глаза, сверкавшие каким-то мрачным огнем. На плече его лежала тяжелая секира. На нем была надета броня, и он опирался на огромный датский щит. У ног его сидел юный сын его Гакон. с несвойственным его возрасту выражением задумчивости.

Подле Свена стоял, скрестив на груди руки, самый грозный и злобный из сыновей Годвина – тот, которому судьба предназначила быть тем же для саксонцев, чем был Юлиан для готов. Прекрасное лицо Тостига напоминало греческий тип во всем, кроме лба, низкого и узкого.

Светло-русые волосы были гладко зачесаны, оружие оправлено в серебро, потому что Тостиг любил роскошь и великолепие.

Вольнот, любимец матери, казался еще в первом цвете лет. В нем одном из всего семейства видна была какая-то нерешительность и нежность. Он был высокого роста, но, очевидно, не достиг еще полного развития тела и сил. Тяжесть кольчуги казалась непривычной для него тяжестью, и он опирался обеими руками на древко своего дротика. Около него стоял Леофвайн, составлявший с ним разительную противоположность: светлые кудри свободно вились вокруг его ясного, беспечного лица, и шелковистые усики оттеняли уста, с которых не сходила улыбка даже в этот тревожный час.

По правую руку Годвина, немного в стороне, стояли, наконец, Гурт и Гарольд. Гурт обвивал рукой плечо Гарольда и, не обращая внимания на переговорщика, дававшего отчет в результате своего посольства, наблюдал только действие его слов на Гарольда, потому что Гурт любил Гарольда, как Ионафан – Давида. Гарольд один был совершенно безоружен, а если спросили бы любого из ратников, кто из всего семейства Годвина рожден полководцем, он, вероятно, указал бы на него, безоружного.

– Что же говорит король? – спросил Годвин.

– Он не соглашается возвратить тебе и твоим сыновьям поместья и званье и даже не хочет выслушать тебя, пока ты не распустишь свои войска, не удалишь суда и не согласишься оправдать себя и свое семейство перед Витаном.

Тостиг злобно захохотал, пасмурное лицо Свена стало еще мрачнее, Леофвайн крепко сжал правой рукой свой ятаган, Вольнот выпрямился, а Гурт не спускал глаз с Гарольда, лицо которого оставалось совершенно спокойным.

– Король принял тебя в военном совете, – проговорил Годвин, – где, разумеется, участвовали норманны. А кто же был в нем из знатнейших англичан?

– Сивард нортумбрийский, твой враг.

– Дети, – обратился граф к сыновьям, глубоко вздохнув, как будто громадная тяжесть свалилась с его сердца, – не будет сегодня нужды в мечях и кольчугах. Гарольд один рассудил справедливо.

– Что ты этим хочешь сказать, батюшка? – спросил Тостиг злобно. – Уж не намерен ли ты...

– Молчи, сын, молчи! – перебил Годвин твердым повелительным голосом, но без суровости. – Иди назад, храбрый, честный приятель, – продолжал он, обращаясь к Веббе, – отыщи графа Сиварда и скажи ему, что я, Годвин, старый его соперник и враг, отдаю в его руки свою жизнь и честь, и что я готов безусловно следовать его совету, как мне поступить... Иди!

Вебба кивнул головой и опять спустился в шлюпку.

Гарольд выступил вперед.

– Батюшка, – начал он, – вот там стоят войска Эдуарда, вожди их должны еще находиться во дворце, какой-нибудь запальчивый норманн может, чего доброго, возбудить стычку, и Лондон будет взят не так, как нам следует брать его: ни одна капля английской крови не должна обогреть английский меч. Поэтому, если ты позволишь, я сяду в лодку и выйду на берег. Если я в изгнании не научился узнавать сердца моих земляков, то, при первом возгласе наших ратников, которым они будут приветствовать возвращение Гарольда на родину, половина неприятельских рядов перейдет на нашу сторону.

– А если этого не будет, мой самонадеянный братец? – сказал насмешливо Тостиг, кусая от злости губы.

– Тогда я один поеду в ряды их и спрошу: какой англичанин дерзнет пустить стрелу или направить копье в эту грудь, никогда не надевавшую брони против Англии?

Годвин положил руку на голову Гарольда и слезы выступили в его холодных глазах.

– Ты угадываешь по внушению неба то, чему я научился только опытом и искусством, – сказал он. – Иди, и Бог да пошлет тебе успех... пусть будет по-твоему!

– Он заступает твое место, Свен: ты старший, – заметил Тостиг брату.

– На моей душе лежит бремя греха, и тоска гложет мое сердце! – ответил Свен грустно. – Если Исав потерял свое право первородства, то неужели Каин сохранит его?

Проговорив эти слова, он отошел от Тостига и, прислонившись к корме корабля, опустил лицо на край своего щита.

Гарольд взглянул на него с выражением глубокого сострадания, поспешно приблизился к нему и, дружески пожав его руку, шепнул:

– Брат, прошу: не вспоминай о прошлом. Гакон, тихонько следовавший за отцом, поднял на Гарольда свои задумчивые, грустные глаза. Когда же тот удалился, он сказал Свену робкий голосом:

– Он один, по крайней мере, всегда добр и сострадателен к тебе и ко мне.

– А ты, когда меня не будет, привяжись к нему и люби его, как твой отец, Гакон, – ответил Свен, с любовью приглаживая темные кудри ребенка.

Мальчик вздрогнул и, наклонив голову, прошептал про себя:

– Когда тебя не будет?!.. не будет! Разве вала⁷ и тебе изрекла гибель?.. и отцу и сыну – обоим?

⁷ Вала – предсказательница.

Между тем Гарольд сел в лодку, спущенную для него с борта короля. Гурт взглянул с умоляющим видом на отца и последовал за братом.

Годвин задумчиво следил глазами за удаляющейся шлюпкой.

– Нет надобности, – проговорил он вслух, хоть и про себя, – верить прорицателям или Хильде, когда она предсказывала, еще до нашего изгнания...

Он остановился: гневный голос Тостига прервал его думу.

– Отец! Кровь приливает к мозгу, когда ты припоминаешь предсказания Хильды насчет своего любимца! – воскликнул молодой человек. – Они уже и без того посеяли немало раздора в нашем доме. Если мои распри с Гарольдом навели преждевременную седину на твою голову – вини в этом себя!.. Вспомни, как ты, под влиянием этих нелепых предсказаний, сказал нам, при первой нашей ребяческой ссоре, с твоим любимцем: «Не ссорьтесь с Гарольдом: его братья со временем подчинятся ему!»

– Докажи, что предсказание ложно, – ответил Годвин спокойно. – Умные люди всегда сами создают себе будущность, сами определяют себе жребий. Благоразумие, терпение, труд, мужество – вот звезды, управляющие участью человека!

Тостиг не успел возразить, потому что вблизи раздался плеск весел, и два корабля, принадлежавшие двум знатнейшим вождям, принявшим сторону Годвина, подплыли к борту рунической эски, чтобы узнать результат посольства к королю.

Тостиг кинулся к борту корабля и вскричал громким голосом:

– Король, увлекаясь внушениями безрассудных советников, не желает нас выслушать... Оружие должно порешить наше дело!

– Молчи, безумный юноша! – воскликнул Годвин, заскрежетав зубами при буйных криках злобной и негодующей радости, поднявшихся на кораблях после ответа Тостига.

– Да будет проклят тот, кто первый прольет родную кровь! – продолжал Годвин. – Слушай, кровожадный тигр, тщеславный павлин, гордящийся своими пестрыми перьями!.. Слушай, Тостиг, и трепещи: если ты еще одним словом расширишь пропасть, разделяющую меня с королем, то помни, что как изгнанником ты вступил в Англию, так и выйдешь из нее опять тем же изгнанником. Ты променяешь графство и поместья на горький хлеб изгнания и на волчью виру⁸!

Гордый Тостиг смутился от этих слов отца и молча удалился. Годвин перешел на палубу ближайшего корабля и силился могуществом своего красноречия смирить страсти, возбужденные безрассудной выходкой Тостига.

– В то самое время, когда он убеждал негодующих вождей и ратников, в рядах войск, стоявших на берегу, раздался восторженный крик: «Гарольд, наш граф Гарольд!» Годвин посмотрел в эту сторону: королевские полки колебались, переговаривались и вдруг, уступая какой-то непреодолимой силе, тысячи голосов произнесли единодушно: «Гарольд, наш Гарольд!.. да здравствует наш благородный граф!»

В то время как это совершалось на улице, во дворце происходила сцена другого рода. Эдуард вышел из Совета и заперся со Стигандом, имевшим на него громадное влияние именно потому, что он считался ревностным приверженцем норманнов и даже пострадал за слишком явную преданность к норманнке Эмме, матери Эдуарда. Никогда еще Эдуард не выказывал такой твердости, как в настоящем случае. Дело шло не только о его государстве, но и об его домашнем спокойствии и счастье. Он уже предвидел, что будет принужден, по возвращении могущественного тестя, вернуть свою супругу и отречься от прелестей уединенной жизни. Кроме того, его норманнские любимцы будут тотчас же изгнаны, и он снова очутится в обще-

⁸ Вирой называлась денежная пеня не только за убийство, но и за выдачу оцененной головы, или даже – за убийство вредного животного.

стве ненавистных его сердцу саксонцев. Убеждения Стиганда разбивались о страшное упрямство Эдуарда, когда вошел Сивард.

– Король и господин, – сказал граф нортумбрийский, – я уступил в Совете твоей воле не поддаваться требованиям Годвина, пока он не распустит войска и не покорится суду Витана... Граф прислал мне сказать, что он вверяет мне свою жизнь и честь и будет поступать по моему совету. Я ответил ему словами человека, который не способен обманывать врага или употреблять во зло его доверие.

– Что же ты ответил ему? – спросил Эдуард.

– Чтобы он подчинился законам Англии, как датчане и саксонцы клялись повиноваться им, при короле Кануте. Чтобы он и сыновья его не требовали ни власти, ни земель, а покорились бы решению Витана.

– Прекрасно! – произнес поспешно Эдуард. – Витан его осудит, как он бы осудил его за непокорность?

– Витан будет судить его по правде и законам! – ответил старый воин.

– А войска между тем...

– А войска будут ждать, и если здравый смысл и сила убеждения не разрешат вопроса – его решит оружие.

– Я не дозволю этого! – воскликнул король. В эту минуту в коридоре слышались тяжелые шаги, и несколько королевских вождей, норманнов и саксонцев, вбежали в кабинет в совершенном расстройстве.

– Войска изменяют, и половина ратников кинула оружие при имени Гарольда! – воскликнул граф гирфордский. – Проклятие предателям!

– Лондонская городская дружина – вся на его стороне, и она уже выходит из городских ворот! – добавил торопливо один саксонский тан.

– Поудержи язык, – шепнул ему Стиганд. – Неизвестно еще, кто будет владеть завтра престолом – Эдуард или Годвин!

Сивард, тронутый бедственным положением короля, подошел к нему и сказал, преклонив почтительно колени:

– Сивард не посоветует королю ничего унижительного: щадить кровь своих подданных не бесчестное дело... прояви милосердие, а Годвин покорится всевластию закона.

– Мне только остается удалиться от света! – произнес король. – О, родная Нормандия! Я наказан за то, что покинул тебя!

Эдуард снял с груди какой-то талисман, поглядел на него, и лицо его стало совершенно спокойно.

– Идите, – сказал он, бросаясь в свое кресло в изнеможении, – идите, Сивард и Стиганд, управляйте, как знаете, делами государства!

Стиганд, довольный этим согласием, данным против воли, схватил графа Сиварда за руку и вышел с ним из кабинета. Вожди, между тем, оставались еще несколько минут. Саксонцы молча смотрели на государя, а норманны в недоумении и смущении перешептывались друг с другом, бросая горькие, пронзительные взгляды на своего слабого покровителя. Потом они все вместе вышли по коридору в сени, где собрались все их земляки, и воскликнули: «На лошадей... вот весь оппор, сломя голову!.. Все погибло – спасайте хоть жизнь!.. Спасемся – хорошо, а нет – делать нечего!»

Как при пожарной тревоге или при первом треске землетрясения расторгаются все узы и все души сосредоточиваются в одном чувстве самосохранения, так и тут все собрание в беспорядке, толкаясь, ругаясь, бросилось в ворота. Счастлив был тот, кому попалась лошадь, ратная или ломовая, а то и лошак. Кто вправо, кто влево, бежали надменные норманны, бароны, графы и рыцари, кто один, кто вдвоем, вдесятером и больше. Но все благоразумно избегали общества тех вождей, около которых они прежде увивались и которые должны были теперь

сделаться первым предметом народной ярости. Только двое, даже в этот час общего эгоизма и страха, успели собрать вокруг себя самых неустранимых своих земляков. Это были лондонский и кентерберийский правители. Вооруженные с головы до ног, они бежали во главе своей дружины. Много важных услуг оказал им в тот день де-Гравиль, как проводник и как защитник. Он провел их кругом, в тылу обоих войск, но, встретив новый отряд, спешивший на помощь Годвину с гирфордских полей, он принужден был на отчаянный подвиг – войти в город. Ворота были открыты для того ли, чтобы впустить саксонских графов или чтобы выпустить их союзников, лондонских жителей. Беглецы кинулись в ворота и помчались по три в ряд по узким улицам, оправдывая даже в бегстве свою громкую славу, рубя и ниспровергая все, что попадалось на пути. На каждом перекрестке встречали их саксонцы с криками:

«Вон! Гони, руби заморцев!» Пиками и мечами пробивали они себе путь. Пика лондонского правителя была обагрена кровью, между тем как сабля кентерберийского сломалась пополам.

Так пробившись они через весь город к восточным воротам и выехали, потеряв из своей дружины только двух человек.

Выехав в поле, они для большей безопасности разделились. Те, которые были знакомы с саксонским языком, бросили кольчуги и стали пробираться лесами и пустырями к морскому берегу. Прочие же остались на конях и в доспехах, но также старались избегать больших дорог. В числе последних находились и оба правителя. Они благополучно достигли Несса, в эссекском графстве, сели в рыбацью лодку и отделись на произвол ветра и волн, подвергаясь опасности погибнуть в море или умереть от голода, пока, наконец, не пристали к французскому берегу. Остальные члены этого чужеземного двора частью нашли приют в крепостях, остававшихся еще в руках их земляков, частью скрывались в ущельях и пещерах, пока не удалось им нанять или украсть лодку. Так произошло в лето 1052 достопамятное рассеяние и бесславное бегство графов и баронов Вильгельма норманнского!

Глава III

Витан собрался во всем своем великолепии в большой палате вестминстерского дворца. На этот раз король сидел на троне и держал в правой руке меч. Около него частью стояли, частью сидели несколько придворных чинов пониже британского базилиса⁹. Тут были постельничий и кравчий, стольник-тан и конюший-тан и множество других титулов, заимствованных, быть может, от византийского двора. Это тем вероятнее, что в старину английский король величался наследником Константина. За ними сидели писцы, имевшие гораздо больше значения, чем можно было предполагать, судя по их скромному названию. Они заведовали государственной печатью и захватили в свои руки власть, прежде неизвестную, но в это время сделавшуюся ненавистной саксонцам. Из них-то возникло впоследствии могучее и грозное судилище королевская канцелярия.

Ниже их было порожнее пространство, за которым помещались начальники Витана.

В первом ряду находились самые замечательные по своему сану и обширности владений лица. Места лондонского и кентерберийского правителей оставались незанятыми, да и без них было много величественных сановников чисто саксонского происхождения. Особенно поражало свирепое, жадное, но умное лицо корыстолюбивого Стиганда и кроткие, но мужественные черты Альреда, этого – истинного сына отечества, достойнейшего из всех государственных сановников. Вокруг каждого сановника помещалась его свита, как звезды вокруг солнца. Далее сидели вторые гражданские чины и короли-вассалы верховного суверена. Стул шотландского короля оставался порожним, потому что просьба Сиварда не была исполнена. Макбет сидел еще в своих крепостях или вопрошал нечистых сестер в глухом лесу, а Малькольм скрывался у нортумбрийского графа. Не занят был также стул Гриффита, сына Левелина, грозы марок¹⁰, владельца Гвайнеда, покорителя всего кимрийского края. Были тут и не особенно важные валлийские короли-наместники, верные своим незапамятным междоусобиям, истребившим королевство Амврозия и погубившим плод славных подвигов Артура. Они сидели с золотыми обручами на голове, с остриженными вокруг лба и ушей волосами и как-то дико смотрели на происходившее.

В одном ряду с ними, отличаясь от них как высоким ростом и спокойной физиономией, так и своими почетными шапками и подбитыми мехом кафтанами, сидели обыкновенно опоры сильных престолов того времени, а гроза слабых графы, владевшие графствами и шайрами, как таны низших разрядов владели сорочинами и волостями. Но на этот раз их было только трое – все враги Годвина:

Сивард, граф нортумбрийский, Леофрик мерцийский, тот самый, жена которого – Гадива – еще и теперь воспевается в народных балладах и песнях, и Рольф, гирфордский и ворчестерский. Он, в качестве родственника короля, не считал нужным оставить двор вместе со своими норманнскими друзьями. В том же ряду, но немного в стороне, находились второстепенные графы и высший разряд танов, называвшийся королевскими.

Далее помещались выборные граждане от города Лондона, имевшие в собрании такой вес, что нередко влияли на его решения; то были приверженцы Годвина и его дома. В том же отделе палаты находилась главная масса собрания и самый народный его элемент, не как представители народа, а потому что тут сосредоточивалось все, наиболее ценное народом – мужество и богатство.

⁹ Английские короли сохраняли титул базилисов до времен Иоанна (1199–1216), который еще назывался Totius insulse Britannicae basileus.

¹⁰ Марка значит графство.

Заседание открылось речью Эдуарда, видимо старавшегося склонить всех к миру и милосердию, но голос его дрожал и был так слаб, что слов почти было не слышно.

Когда король кончил, по всему собранию пронесся глухой говор, и вслед за тем Годвин, сопровождаемый своими сыновьями, вышел на приготовленное для него место.

– Если, – начал граф со скромным видом и потупленным взором опытного оратора, – если сердце мое ликует, что еще раз пришлось мне дышать воздухом Англии, на службу которой, на поле битвы и в Совете, я посвятил столько лет своей жизни – иногда предосудительной, быть может, по поступкам, но всегда чистой по помыслам... – если сердце мое радуется, что мне остается теперь только выбрать тот уголок родной земли, где должны лечь мои кости – если будет на то соизволение государя и ваше, сановники!.. Если сердце мое радуется, что пришлось мне еще раз стоять в этом собрании, которое прежде неоднократно внимало моим словам, когда грозила опасность нашей общей родине. Кто осудит эту радость? Кто из врагов моих, если у меня есть еще врага, отнесется без сочувствия к радости старика? Кто из вас не будет сожалеть, если суровый долг заставит вас сказать седому изгнаннику: «Не дышать тебе родным воздухом при последней минуте жизни, не иметь тебе могилы в родной земле!»... Кто из вас, благородные графы и земляки, скажет это без сожаления?

Произнеся эти слова, граф остановился и, подняв голову, устремил на слушателей зоркий, испытывающий взгляд.

– В ком, – спрашиваю я, – продолжал Годвин после минутной паузы, – в ком хватит столько сил, чтобы без смущения сказать эти слова?!.. У кого из вас станет силы сказать это?!.. Да, радуется сердце мое, что мне пришлось, наконец, предстать перед собранием, имеющим право осудить мои дела или провозгласить мою невинность! Каким преступлением заслужил я наказание? За какое преступление меня с шестью сыновьями, которых я дал отечеству, присудили к волчьему наказанию, отдали на травлю, как диких зверей?!.. Выслушайте меня и отвечайте тогда. Евстафий, граф Булонский, возвращаясь домой от нашего короля, у которого был в гостях, вступил в доспехах и на боевом коне в город Довер, дружина графа последовала его примеру. Не зная наших законов и обычаев, я хочу пролить свет на прежние обиды, но никого не желаю подозревать в злом умысле, – чужеземцы самовольно заняли дома граждан и расположились в них на житье. Вы все знаете, что это было нарушение саксонских прав, потому что, как вам известно, у каждого сеорля на устах поговорка: «каждый человек силен в своем доме». Один гражданин, руководствуясь этим понятием, по-моему совершенно справедливым, прогнал со своего порога одного из служителей графа. Чужеземец обнажил меч и ранил его, произошел поединок – и пришелец пал от руки, которую сам вынудил взяться за оружие. Доходит весть о том до графа Евстафия. Он летит на место катастрофы со своими родными, где они и убивают англичанина у его собственного дома!

Тут сдавленный, гневный ропот послышался среди сеорлей, толпившихся в конце залы. Годвин поднял руку, требуя, чтобы его не прерывали, и продолжал:

– Совершив это злодейство, чужеземцы начали разезжать по всем улицам с обнаженными мечами, резать всех, кто ни попадался им на дороге, и топтать даже детей копытами своих бегунов. Граждане тоже взяли за оружие... Благодарю Бога, давшего мне в соотечественники этих смелых граждан! Они дрались, как мы, англичане, всегда деремся, убили девятнадцать или двадцать человек наглых пришельцев и принудили остальных очистить город от своего присутствия. Граф Евстафий бежал. Он, как вам известно, человек умный и сообразительный; он не сходил с коня, не брал куска в рот, пока не остановился у ворот Глостера, где наш монарх производил все то время суд и расправу. Он жаловался королю, который, выслушав одного истца, очень разгневался за оскорбление, нанесенное его знаменитому гостю и родственнику, и послал за мной, потому что Довер находился в моем управлении, и повелел мне нарядить военный суд и наказать по военным законам тех, которые дерзнули поднять оружие на иностранного графа... Обращаюсь к вам, мужественные графы, заседающие здесь, – к тебе, зна-

менитый Леофрик, и к тебе, благородный Сивард! На что, скажите, вам графства, если у вас не хватит смелости или силы охранять их права?.. Какой же образ действий предложил я? Вместо военного суда, который распространил бы свой приговор на весь город, я посоветовал государю вызвать городскую голову и старшин для объяснения их поступка. Король, потому ли, что я имел несчастье навлечь на себя его гнев, или же по внушению чужеземцев, отверг этот образ действий, предписываемый законами Эдгара и Канута. А так как я не желал и объявляю в присутствии всех – потому что я Годвин, сын Вольнота, не смел, если б и желал, войти в вольный город Довер в доспехах и на боевом коне, с палачом по правую руку, – эти гфишельцы убедили короля призвать меня в качестве подсудимого в совет Витана, собранный в Глостере и наполненный чужеземцами... не затем вызывали меня, чтобы – как я предполагал – оказать правосудие мне и моим доверским подчиненным, а для того чтобы одобрить посягательства графа Булонского на льготы английского народа и предоставить ему право безнаказанно издеваться над англичанами!.. Я колебался; мне стали грозить изгнанием; я поднял меч на защиту себя и английских законов, поднял меч, чтобы не дать чужеземцам резать наших братьев у собственных их очагов и давить наших детей под копытами лошадей. Король созвал свои войска. Благородные графы – Леофрик и Сивард, не зная причин, заставивших меня прибегнуть к оружию, стали под знамя короля, как их обязывал долг к британскому базилейсу. Когда же они узнали сущность дела и увидели, что за меня весь народ, чтобы наказать заморских пришельцев, – графы Сивард и Леофрик вызвались быть посредниками между мной и королем... Заключено перемирие; я согласился представить все дело на решение Витана, который должен был собраться на этом же месте. Я распустил своих воинов, однако, чужеземцы не только уговорили короля удержать свои полки, но даже посоветовали призвать к оружию ближние и дальние области и пригласить союзников из-за моря. Явился я в Лондон, чтобы предстать перед мирным Витаном, и что же я нашел? Самое грозное ополчение, какое когда-либо собиралось в нашей стране! Вождями этого ополчения были норманнские рыцари. В таком ли собрании мог я ожидать правосудия себе и своим? Несмотря на то, я соглашался явиться с сыновьями перед Витаном, если нам дадут охранные грамоты, в которых наши законы отказывают одним только грабителям. Два раза повторял я это предложение и оба раза мне отказали... Таким образом, я и мои сыновья были осуждены на изгнание. Мы покинули было отечество, но теперь воротились.

– С оружием в руках! – злобно воскликнул Рольф, пасынок Евстафия Булонского, насилия которого были верно описаны Годвином.

– С оружием в руках! – повторил граф. – Да, мы подняли оружие на пришельцев, отравлявших слух нашего доброго короля... с оружием в руках, граф Рольф! При виде этого оружия бежали франки и чужеземцы... теперь же оно бесполезно. Мы среди своих соотечественников, и франк не стоит более между нами и кротким, миролюбивым сердцем нашего возлюбленного монарха... Сановники и рыцари, вожди этого Витана, величайшего из всех Витанов! Вам теперь надлежит решить: я ли со своими приверженцами или заморские пришельцы посеяли раздор в нашем отечестве? Заслужили ли мы изгнание? И, возвратясь назад, употребили ли мы во зло принадлежащую нам власть? Я готов принести очистительную клятву от всякого изменнического действия или помысла. Между равными мне королевскими танами находятся такие, которые могут поручиться за меня и подтвердить представленные мной факты, если они еще не довольно ясны... Что касается моих сыновей, в чем можно винить их, кроме того, что в жилах их течет моя кровь? А эту кровь я научил их проливать в защиту той возлюбленной страны, в которую они умоляют позволить им возвратиться?

Граф замолк и удалился за своих сыновей. Тем, что он так искусно удержался от того бурного красноречия, в котором обвиняли его, как в хитрой уловке, он произвел сильное впечатление на собрание, уже наперед готовое оправдать его.

Но когда выступил вперед старший сын его, Свен, большая часть собрания как будто вздрогнула и со всех сторон раздался ропот ненависти и презрения.

Молодой граф заметил это и сильно смутился. Дыхание сперлось в груди, он поднял руку, хотел заговорить... но слова замерли на устах, а глаза его дико озирались кругом – не с гордостью правоты, а с мольбой преступной совести.

Альфред лондонский приподнялся со своего места и произнес дрожащим, но кротким и отчетливым голосом:

– Зачем выступает Свен, сын Годвина? Затем ли, чтобы доказать, что он невиновен в измене королю? Если для этого, то он сделал это напрасно, потому что, если Витан и оправдает Годвина, то это оправдание распространится на весь его дом. Но спрашиваю во имя собрания: осмелится ли Свен сказать и подтвердить клятвой, что он не виновен в измене против Одина? Не повинен в святотатстве, которое губы мои страшатся произнести?.. Увы! Зачем выпал мне этот тяжкий жребий?.. Я любил тебя и люблю до сих пор твоих родственников. Но я – слуга закона и обязанностям своего сана должен жертвовать всем остальным...

Альфред на мгновение остановился, чтобы собраться с силами, и затем продолжал твердым голосом:

– Обвиняю тебя, Свена изгнанника, в присутствии всего Витана, в том, что ты, движимый внушениями демона, похитил из храма богов и обольстил Альгиву, леоминстерскую жрицу!

– А я, – вмешался граф нортумбрийский, – обвиняю тебя перед этим собранием гордых и честных воинов в том, что ты не в открытом бою и не равным оружием, а хитростью и предательством убил своего двоюродного брата, графа Беорна!

Разразись неожиданно громовой удар, он не произвел бы такого сильного впечатления на собрание, как это двойное обвинение со стороны двух лиц, пользовавшихся всеобщим уважением. Враги Годвина с презрением и гневом взглянули на исхудалое, но благородное лицо его старшего сына. Даже самые преданные друзья графа не могли скрыть движения, выражавшего порицание. Одни потупили головы в смущении и с прискорбием, другие смотрели на обвиненного холодным, безжалостным взглядом. Только между сеорлями нашлось, может быть, несколько затуманившихся и взволнованных лиц, потому что до этого времени ни один из сыновей Годвина не пользовался таким уважением и такой любовью, как Свен. Мрачно было молчание, наступившее за этим обвинением. Годвин закрылся плащом, и только находившиеся вблизи него могли видеть его душевную тревогу. Братья отступили от обвиненного, осужденного своей родной семьей. Один только Гарольд, сильный своею славой и любовью народа, выступил гордо вперед и стал около брата, устремив безмолвно на судей повелительный взгляд.

Ободренный этим знаком сочувствия посреди негодующего враждебного собрания, граф Свен проговорил:

– Я мог бы отвечать, что эти обвинения в делах, совершенных уже за восемь лет, смыты помилованием короля снятием с меня опалы и восстановлением моих прав и что Витаны, в которых я сам председательствовал, никогда не судили человека два раза за одно и то же преступление. Законы равносильны для больших и малых собраний Витана.

– Да, да! – воскликнул граф, забывая в порыве родительского чувства всякую осторожность и приличие. – Опирайся на закон, сын мой!

– Нет, я не хочу опираться на этот закон, – возразил Свей, бросая презрительные взгляды на смущенные лица разочаровавшегося в своей надежде собрания. – Мой закон здесь, – добавил он, ударив себя в грудь. – Он осуждает меня не раз, а вечно... О, Альфред, почтенный старец, у ног которого я однажды сознался во всех своих проступках, не виню я тебя за то, что ты первый в Витане возвысил против меня голое, хотя ты знаешь, что я любил Альгиву с самой юности и был любим ею взаимно. Но в последний год царствования Гардиканута, в то время как сила еще считалась правом, ее отдали против воли в жрицы. Я увидел ее снова, когда душа моя была упоена славой моих подвигов с валлонами, а страсть кипела в крови. Я повинен,

конечно, в тяжелом преступлении! Но чего же я требовал? Разрешения ее от вынужденного обета и брачного союза с нею, давно мной избранной. Прости меня, если я еще не знал в то время, как нерасторжимы узы, которыми связываются все, произнесшие обет чистоты и целомудрия!

Он замолк. Уста его злобно улыбнулись, а глаза засверкали диким огнем. В это мгновение в нем заговорила материнская кровь и он мыслил, как датский язычник. Но это продолжалось чрезвычайно недолго: огонь в глазах угас. Свен ударил себя с сокрушением в грудь и промолвил:

– Не смущай, искуситель! Да, – продолжал он громче, – да, мое преступление было очень велико, и оно обрушилось не на меня одного. Альги́ва опозорена, но душа ее оставалась чиста. Она бежала, бедная и...затем умерла!.. Король был разгневан. Первым против меня восстал мой брат Гарольд, который, в этот час моего покаяния, один не оставляет и жалеет меня. Он поступил со мной благородно, открыто, я не винил его. Но двоюродный брат Беорн желал получить в свою власть мое графство и действовал лицемерно: он льстил мне в глаза, но вредил мне заочно. Я открыл эту фальшь и хотел удержать его, но не желал убить. Он лежал связанным на моем корабле, оскорблял меня в то время, когда горе терзало мое сердце, а кровь морских королей текла во мне огнем... и я поднял секиру... а за мной и дружина... повторяю снять: я великий преступник!.. Не думайте, однако, чтобы я теперь хотел смягчить свою вину, как в то былое время, когда я дорожил и жизнью и властью. С тех пор я испытал и земные страдания и земные блаженства – и бурю и сияние. Я рыскал по морям морским королем, бился храбро с датчанином в его родной земле, едва не завладел царским венцом Канута, о котором я некогда мечтал, и скитался потом беглецом и изгнанником. Наконец, я опять возвратился в отечество, был графом всех земель от Изиса до Вая. Но в изгнании и в почестях – при войне и при мире меня везде преследовали бледный лик опозоренной, но дорогой мне женщины и труп убитого брата! Я пришел не оправдываться и не просить прощения, которое теперь меня уж не порадует, я явился для того, чтобы отделить торжественно, перед лицом закона, деяния моих родичей от собственно моих, которые одни позорят их! Я пришел объявить, что не хочу прощения и не страшусь суда, что я сам произнес над собой приговор. Отныне и навеки снимаю шапку тана и слагаю меч витязя. Я иду босиком на могилу Альги́вы... иду смыть преступление и вымолить себе у богов то прощение, которого, конечно, люди не властны дать! Ты, Гарольд, заступи место старшего брата! А вы, сановники и мужи Совета, произносите суд над живыми людьми, а я отныне мертв и для вас и для Англии!

Он запахнул свой плащ и прошел, не оглядываясь медленным шагом обширную палату, а толпа расступалась перед ним с уважением и отчасти со страхом. Собранию казалось, будто с его уходом рассеялась мгновенно непроглядная туча, застилавшая свет дня.

Годвин стоял на месте неподвижно, как статуя, закрыв лицо плащом.

Гарольд смотрел печально в глаза членам собрания: их лица предвещали суровый приговор.

Гурт прижался к Гарольду.

Всегда веселый и беспечный Леофвайн был на этот раз мрачен как ночь.

Вольнот был страшно бледен. Только Тостиг играл совершенно спокойно золотой цепочкой.

Из одной лишь груди излетел тихий стон. Один только Альред проводил добрым чувством обвиненного Свена.

Глава IV

Достопамятный суд кончился повторением приговора над Свеном и возвратил Годвину и его сыновьям все их прежние почести и прежние владения. Вина в распри и смутах пала на чужеземцев, и все они подверглись немедленно изгнанию, за исключением маленького числа оруженосцев, как, например, Гумфрея, петушья нога, и Ричарда, сына Скроба.

Возвращение в Англию даровитого и могущественного дома Годвина немедленно оказало благотворное влияние на ослабленные в его отсутствие бразды правления. Макбет, услышав об этом, затрепетал в своих болотах, а Гриффит валлийский зажег вестовые огни по горам и скалам. Граф Рольф был изгнан только для виду, в угождение общественному мнению. Как родственник Эдуарда, он вскоре не только получил позволение возвратиться, но даже снова был назначен правителем марок и отправился туда с громадным числом войск против валлонов, которые не переставали делать набеги на границы и почти уже завоевали их. Саксонские рыцари заменили бежавших норманнов. Все остались довольны этим, переворотом, только король тосковал сердечно о норманнах и был, вдобавок, принужден возвратить нелюбимую супругу-англичанку.

По обычаю того времени Годвина обязали представить заложников в обеспечение своей верности. Они были избраны из его семейства, и выбор пал на сына его Вольнота и Гакона, сына Свена.

Но так как, вообще, Англия перешла в руки Годвина, залог не достиг бы предположенной цели, оставаясь в хранении Исповедника, поэтому решили держать заложников при норманнском дворе, пока король, уверившись в верности и преданности их родных, не позволит им возвратиться домой... Роковой залог и роковой хранитель.

Через несколько дней после переворота, когда мир и порядок воцарились и в городе и во всей стране, Хильда стояла на закате солнца, одна у каменного жертвенника Тора.

Багряный, тусклый солнечный шар опускался все ниже за горизонт, посреди золотистых прозрачных облаков. Кругом не видно было ни одной человеческой души, кроме высокой, величественной валы у рунического жертвенника и друидского кромлеха. Она опиралась обеими руками на свой волшебный посох. Можно было подумать, судя по ее позе, что она ждет кого-то или во что-то вслушивается. Никто не появлялся на пустынной дороге, а она, очевидно, слышала шаги: ее зрение и слух были великолепны. Она улыбнулась и прошептала: «Солнце еще не село!» Потом, изменив положение, она облокотилась в раздумье на жертвенник, наклонила голову.

Через некоторое время на дороге явились две мужские фигуры. Увидев Хильду издали, они пошли быстрее и взошли на пригорок. Один был облечен в одежду пилигрима, с откиннутым назад широким покрывалом, в нем еще сохранились остатки красоты и лицо обличало могучую душу. Его спутник, напротив, был одет чрезвычайно просто, без запонки, которую носили тогда таны, но осанка его была очень величественна, а в его кротких взорах видна была привычка к повелительности. Эти люди составляли между собой резкую противоположность, хотя в чертах их было очевидное сходство. Последний из них был чрезвычайно грустен, но кроток и спокоен. Страсти не помрачили ясность его чела, не провели на нем своих резких следов. Длинные, густые светлорусые волосы, которым заходящее солнце придавало прекрасный золотистый отлив, были разделены пробором и ниспадали до плеч. Брови, темнее волос, были густы и тонки – черты, такие же правильные, как у норманнов, но менее резкие, на щеках, загорелых от труда и от воздуха, играл свежий румянец. Его высокий рост, сила, проистекавшая не столько из крепкого сложения, сколько из его соразмерности и воинского воспитания все взятое вместе представляло в нем тип саксонской красоты. Вообще, он отличался тем истин-

ным величием, которого, кажется, не ослепит никакое великолепие и не поколеблет никакая опасность и которое проистекает от сознания собственной силы и собственного достоинства.

Эти личности были Свен и брат его Гарольд. Хильда устремила на них пристальный взгляд, смягчившийся до нежности, когда он приковался к особе пилигрима.

– В таком ли положении, – произнесла она, – ожидала я встретить старшего сына великого Годвина? Для кого я не раз вопрошала светила и сторожила заходящее солнце? Для кого я чертила таинственные руны на ясеновой коре и вызывала скинляку¹¹ в бледном ее сиянии из могил мертвецов.

– Хильда, – ответил Свен, – не хочу укорять тебя тем семенем, которым ты посеяла ниву: жатва с нее снята, коса переломилась... Отрекись навсегда от своей мрачной гальдры¹² и обратись, как я, к единственному свету, который не померкнет!

Пророчица задумалась и сказала спокойно:

– Вера уподобляется вольному ветру! Дерево не может сказать ему: «Остановись на моих ветвях!» и не может человек сказать вере: «Осени меня своею благодатью!»... Иди с миром туда, где душа твоя найдет себе успокоение: твоя жизнь отцвела. Когда я пытаюсь узнать твою судьбу, то руны превращаются в бессмысленные знаки и волна не колыхнется. Иди же, куда Фюльгия¹³ направляет стопы твои! Альфадер дает ее каждому человеку со дня его рождения. Ты желал любви, которая была тебе воспрещена. Я тебе предсказала, что твоя любовь воскреснет из недра гроба, в который жизнь вколочена в самом ее расцвете. Ты жаждал прежде славы, и я благословила меч твой и соткала крепкие паруса для твоих кораблей. Пока человек может еще желать, Хильде дается власть над всей его судьбой. Но когда его сердце обратится в пепел, на зов мой восстает только безмолвный труп, который возвращается опять в свою могилу по прекращении чар... Однако же, подойди ко мне поближе, Свен. Я некогда убаюкивала тебя своими песнями, в дни твоего беспечного и счастливого детства!

Хильда с глубоким вздохом взяла руку изгнанника и стала в нее всматриваться. Уступая невольному порыву сострадания, она вдруг отодвинула назад покрывало его и поцеловала его дружески в лоб.

– Я размотала нить твою, – продолжала она, – ты блаженнее всех, презирающих тебя и немногих сочувствующих. Сталь тебя не коснется, буря пройдет безвредно над твоею головой, ты достигнешь убежища, которого ты жаждешь... Полночная луна освещает развалины – мир развалинам витязя!

Изгнанник слушал с полнейшим равнодушием, но когда он внезапно обернулся к Гарольду, который не удержал душивших его слез, то и его сухие, горящие глаза наполнились слезами.

– Прощай же теперь, брат, – проговорил он глухо. – Ты не должен идти за мной ни шага дальше! Гарольд раскрыл объятия, и Свен упал на грудь его. Глухой стон прервал глубокое безмолвие, а братья так крепко прижимались друг к другу, что невозможно было узнать, из чьей груди вылетел это стон. Изгнанник скоро вырвался из объятий Гарольда и сказал с тихой грустью:

– А Гакон... милый сын мой!.. обречен быть заложником на чужой стороне! Ты его не забудешь? Ты будешь защищать его, не правда ли, Гарольд? Да хранят тебя боги!

Он вздохнул и спустился торопливо с холма. Гарольд пошел за ним, но Свен остановился и заметил внушительно:

¹¹ Scin-lacca – сияющий труп, вызывание мертвых было очень употребительно у скандинавских гадателей.

¹² Гальдра – магия.

¹³ Фюльгия – ангел-хранитель скандинавов, божество женского пола, кроткое, любящее, преданное как женщина, пока его почитали. мстительное, когда покидали. В скандинавской поэзии много легенд о Фюльгии; это едва ли не самое поэтическое создание северной мифологии.

– А твое обещание? Или я пал так низко, что даже родной брат не считает за нужное сдержать данное мне слово?

Гарольд остановился. Когда Свен уже скрылся за поворотом дороги, вечерняя темнота рассеялась сиянием восходящей луны.

Гарольд стоял как вкопанный, устремив глаза вдаль.

– Смотри, – сказала Хильда, – точно так, как луна восходит из тумана, возникает твоя слава, когда бледная тень несчастного изгнанника скроется во мраке ночи. Ты теперь старший сын знаменитого дома, в котором заключается и надежда саксонца и счастье датчанина.

– Неужели ты думаешь, – возразил Гарольд с неудовольствием, – что я способен радоваться горькой судьбине брата?

– О, ты еще не слышишь голоса своего истинного призвания?!.. Ну так знай же, что солнце порождает грозу, а что слава и счастье идут об руку с бурей!

– Тетка, – ответил Гарольд с улыбкой неверия, – ты знаешь хорошо, что твои предсказания для меня безразличны и твои заклинания не пугают меня! Не просил я тебя благословить мое оружие и ткать мне паруса. На клинке моем нет рунических стихов. Я подчинил свой жребий собственному рассудку и силе руки. Между тобой и мной нет никакой таинственной нити.

Пророчица улыбнулась надменно и презрительно.

– Какой же это жребий приготовят тебе твой разум и рука? – спросила она быстро.

– А тот жребий, которого я уж теперь достиг... то есть именно жребий человека, поклявшегося защищать свою родину, любить искренно правду и всегда руководствоваться голосом своей совести!

Почти в эту минуту свет озарил лицо храброго витязя и его выражение вполне согласовалось с этой пылкой речью. Но вала, тем не менее, шепнула ему голосом, от которого кровь застыла в его жилах, несмотря на его глубокий скептицизм.

– Под спокойствием этих глаз, – сказала Хильда, – таится душа твоего отца; под этим гордым челом кроется гений, давший в предки твоей матери северных королей.

– Молчи! – воскликнул Гарольд, но потом, стыдясь своей минутной вспыльчивости, он продолжал с улыбкой. – Не говори об этом, когда сердце мое чуждо всех мирских помыслов, когда оно стремится умчаться вслед за братом, одиноким изгнанником... Наступила уже ночь, а дороги не безопасны, потому что в распущенных войсках короля было много людей, которые в мирное время промышляют разбоем. Я один и вооружен одним ятаганом, поэтому прошу тебя позволить мне провести ночь пса твоим кровом и...

Он замялся и его щеки запыхтели румянцем. – К Тому же, – продолжал он, – я желал бы взглянуть, так ли еще хороша твоя внучка, как она была в то время, когда я смотрел в ее голубые очи, проливавшие слезы о Гарольде, осужденном на изгнание.

– Она не властна над своими слезами, как не властна и над улыбкой, ответила Хильда. – Слезы ее текут из родника твоей скорби, а улыбка ее луч твоей радости. Знай, Гарольд, что Юдифь – твоя земная Фюльгия. Твоя судьба неразрывна с ее судьбой и не отторгнется душа от души, к судьбе которой Скульда приковала ее судьбу, как не отторгается человек от собственной тени.

Гарольд не отвечал, но походка его, обыкновенно медленная, стала вдвое быстрее, и он не этот раз желал искренно верить предсказанию Хильды по поводу Юдифи.

Глава V

Когда Хильда вошла под кров своего дома, многочисленные посетители, привыкшие пользоваться ее хлебосольством, собирались отправиться в отведенные для них комнаты.

Саксонские дворяне разнились от норманнских полнейшим бескорытием своего гостеприимства и смотрели на гостей, как на почетную дружину. Они были готовы принять радушно каждого. Дома людей богатых были с утра до ночи осаждены гостями.

Когда Гарольд проходил вместе с Хильдой через обширный атриум, толпа гостей узнала его и встретила шумными восклицаниями. В этом шумном восторге не приняли участия только три жреца из соседнего храма, смотревшие сквозь пальцы на гадания Хильды, из чувства благодарности за ее приношения.

– Это отродье той нечестивой семьи! – шепнул один из них, завидевши Гарольда.

– Да, надменные сыновья Годвина – ужасные безбожники! – сказал гневно другой.

Все три жреца вздохнули и провожали Хильду и ее молодого и красивого гостя неприязненным взглядом.

Две массивные и красивые лампы освещали ту комнату, в которой мы видели в первый раз Хильду. Девушки, как и прежде, работали над тканью. Хильда остановилась и взглянула сурово на их прилежный труд.

– До сих пор еще изготовлено не больше как три четверти! – заметила она. – Работайте проворнее и тките поплотнее!

Гарольд, не обращая внимания на девушек, озирался тревожно, пока Юдифь не выскочила к нему с радостным криком.

Гарольд затаил дыхание от восторга: та девушка, которую он любил с колыбели, переродилась в женщину. С того времени, как он видел ее в последний раз, она созрела так, как созревает плод под животворным солнцем. Щеки ее горели пылающим румянцем. Она была прелестна, как райское видение!

Гарольд подошел к ней и протянул ей руку, первый раз в жизни они не обменялись обычным поцелуем.

– Ты уже не ребенок, – произнес он невольно, – но прошу тебя сохранить твою прежнюю привязанность – остаток своей детской любви ко мне.

Девушка улыбнулась с невыразимой нежностью. Им недолго пришлось поговорить друг с другом. Гарольда скоро позвали в комнату, наскоро приготовленную для него. Хильда повела его сама по крутой лестнице к светлице, очевидно, надстроенной над римскими палатами каким-нибудь саксонским рыцарем. Самая лестница доказывала предусмотрительность людей, привыкших спать посреди опасностей. В комнате был устроен подъем, с помощью которого лестницу можно было втащить наверх, оставляя на ее месте темный и глубокий провал, доходивший до самого основания дома. Светлица была, впрочем, отделана с роскошью того времени: кровать была покрыта дорогой резьбой, на стенах красовалось старинное оружие: небольшой круглый щит и дротик древних саксонцев, шлем без забрала и кривой нож, или секс, от которого, по мнению археологов, саксонцы и заимствовали свое славное имя.

Юдифь пошла за бабушкой и подала Гарольду на золотом подносе закуску и вино, настоянное пряностями, а Хильда провела украдкой над постелью своим волшебным посохом, положив на подушку свою бледную руку.

– Прекрасная сестрица, – проговорил Гарольд, улыбаясь Юдифи, – это, кажется, не саксонский обычай, а один из обычаев короля Эдуарда.

– Нет, – отозвалась Хильда, живо обернувшись к нему, – так честили всегда саксонского короля, когда он ночевал в доме своего подданного, пока датчане не ввели неприличных пиров, после которых подданный был не в силах подать, а король – выпить кубок.

– Ты жестоко караешь гордость рода Годвина, воздавая его недостойному сыну чисто царские почести... Но мне служит Юдифь и мне ли завидовать королям?

Он взял дорогой кубок, но когда он поставил его подле себя на столик, то Хильды и Юдифи уже не было в комнате. Он глубоко задумался.

– Зачем сказала Хильда, – рассуждал он, – что судьба Юдифи связана с моей собственной и я поверил этому? Разве Юдифь может принадлежать мне?.. Король просит ее настоятельно в жрицы... Свен, случившееся с тобой послужит мне уроком!.. А если я восстану и объявлю решительно: «Отдавайте богам только старость и горечь, а молодость и счастье – достояние общества!» что ответят жрецы? – «Юдифь не может быть твоей женой, Гарольд! Она тебе родня, хоть родство ваше дальше!.. Она может быть или женой другого, если ты пожелаешь, или невестой Одина!..» Вот, что скажут жрецы, чтобы разлучить двух любящих.

Кроткое, спокойное лицо Гарольда омрачилось и приняло выражение свирепости, как лицо Вильгельма норманнского. Кто бы увидел графа в эту минуту гнева, узнал бы в нем сейчас же родного брата Свена. Он, однако ж, успел совладеть с этим чувством, приблизился к окну и стал смотреть на землю, озаренную бледным сиянием луны.

Длинные тени безмолвного леса ложились на просеки.

Как привидения, стояли на холме серые колонны друидского капища и подле него виднелся мрачно и неотчетливо кровавый жертвенник бога войны. Глаза Гарольда остановились на этой картине, и ему показалось, будто на могильном кургане, возле тевтонского жертвенника, виднелся очень бледный фосфорический свет. Гарольд стал смотреть пристальнее и среди света явился человеческий образ чудовищного роста. Он был вооружен точно таким же оружием, какое висело по стенам этой комнаты, и опирался на громаднейший дротик. Свет озарил лицо его: оно было огромно, как у древних богов, и выражало мрачную, беспредельную скорбь. Гарольд протер глаза, но видение исчезло, остались одни серые высокие колонны и древний мрачный жертвенник. Граф презрительно засмеялся над собственной слабостью. Он улегся в постель, и луна озарила своим сиянием его темную спальню. Он спал крепко я долго, лицо его дышало спокойствием, но не успела заря загореться на небе, как в нем произошла резкая перемена.

Часть четвертая

Языческий жертвенник и саксонский храм

Глава I

Мы оставим Гарольда, чтобы бросить беглый взгляд на судьбы того дома, которого он сделался достойным представителем, по изгнании Свена. Судьба Годвина была бы не доступна понятиям человека без знания человеческой жизни. Хотя старое предание, принятое на веру новейшими историками, будто Годвин в дни юности пас лично свои стада, ни на чем не основано и так как он без сомнения принадлежал к богатому и знатному роду, однако тем не менее он был обязан славой своей только собственным силам. Удивительно не то, что он достиг ее еще в молодых летах, а то, что он сумел так долго сохранить свою власть в государстве. Мы уже намекали, что Годвин отличался более дарованиями государственного деятеля, чем хорошего воина, и это-то едва ли не главная причина симпатий, которую он вызывает в нас.

Отец Годвина, Вольнот, был чайльдом у южных саксонцев, или суссекским таном, и племянником Эдрика Стреона, графа мерцийского, даровитого, но вероломного министра Этельреда. Эдрик выдал своего государя и был за это казнен Канутом.

– Я обещал, – сказал ему Канут, – вознести твою голову выше всех своих подданных и держу свое слово.

Отрубленная голова Эдрика была выставлена над лондонскими воротами.

Вольнот жил в раздоре со своим дядей Бройтриком, братом Эдрика, и перед прибытием Канута сделался предводителем морских разбойников. Он привлек на свою сторону около двадцати королевских кораблей, опустошил южные берега и сжег флот. С этих пор его имя исчезает из хроник. Вскоре затем сильное датское войско, известное под именем Туркеловой дружины, завладело всем побережьем Темзы. Его оружие скоро покорило почти всю страну. Изменник Эдрик присоединился к нему с десятью тысячами ратников и весьма возможно, что корабли Боль-нота еще до этого добровольно присоединились к королевскому флоту. Если принять это правдоподобное предположение, то очевидно, что Годвин начал свое поприще на службе у Канута, и так как он был и племянником Эдрика, который, несмотря на все свое предательство, имел много приверженцев, то Годвин натурально пользовался особенным вниманием Канута. Датский завоеватель понимал, как полезно ласкать своих приверженцев и особенно тех, в которых примечал большие дарования.

Годвин принимал деятельное участие в походе Канута на скандинавский полуостров и одержал значительную победу без сторонней помощи, с одной своей дружиной. Этот подвиг упрочил его славу и будущность.

Эдрик, несмотря на свое весьма незнатное происхождение, был женат на сестре короля Этельреда. А когда слава Годвина приобрела ему блистательный почет, то Канут счел возможным выдать свою сестру за своего фаворита: он был ему обязан покорностью саксонского народонаселения. По смерти первой жены, от которой он имел одного сына, умершего от несчастного случая, Годвин женился на другой из того же королевского дома. Мать шести сыновей его и двух дочерей приходилась племянницей Кануту и родной сестрой Свену, сделавшемуся впоследствии королем датским. По смерти Канута выказалось в первый раз пристрастие саксонского вельможи к саксонскому королевскому дому. Но в силу ли убеждения или вследствие различных политических расчетов он представил выбор преемника собранию Витана, как представителю народного желанья, и когда этот выбор упал на сына Канута, Гарольда, он безропотно покорился его решению. Выбор этот служит доказательством власти датчан

и совершенного слияния их племени с саксонским. Не только Леофрик, саксонец, вместе со сивардом нортумбрийским и всеми танами северного берега Темзы, но даже сами жители Лондона стали единодушно на сторону Гарольда датского. Мнение же Годвина разделяли почти одни его эссекские вассалы.

Годвин стал с этого времени представителем английской партии, и многие из тех, которые были убеждены в участии его в убийстве или, по крайней мере, в выдаче Эдуардова брата Альфреда, пытались извинить этот поступок его законной ненавистью к чужеземной дружине, приведенной Альфредом.

Гардиканут, преемник Гарольда, так сильно ненавидел своего предшественника, что приказал вырыть его тело и бросить в болото. Гардиканут был провозглашен королем единодушным желанием саксонских и датских танов и, хотя он вначале преследовал Годвина, как убийцу Альфреда, он удержал его при себе во все время своего царствования и относился к нему так же, как Канут и Гарольд. Гардиканут умер внезапно на свадебном пиру, и Годвин возвел на престол Эдуарда. Чиста должна была быть совесть графа и сильно убеждение в своем могуществе, если он мог сказать Эдуарду, когда последний умолял его на коленях помочь ему отречься от этого престола и вернуться в Нормандию.

– Ты сын Этельреда и внук Эдгара. Царствуй – это твой долг; лучше жить в славе, чем умереть в изгнании. Тебе дан опыт жизни, ты изведал нужду и будешь сочувствовать положению народа. Положись на меня: ты не встретишь препятствий. Кто только люб Годвину – будет люб и всей Англии.

Через несколько времени Годвин своим влиянием на народное собрание доставил Эдуарду королевский престол. Он склонил одних золотом, а других красноречием. Сделавшись английским королем, Эдуард женился, сообразно с заранее заключенным условием, на дочери того, кто доставил ему королевский венец. Юдифь была прекрасна и телом и душой, но Эдуард, по-видимому, не имел к ней любви, она жила во дворце, но безусловно в качестве номинальной жены.

Тостиг, как мы уже видели, женился на дочери Балдуина, графа фландрского – сестре Матильды, супруги герцога норманнского, а поэтому дом Годвина был в родстве с тремя королевскими линиями – датской, саксонской и фламандской. И Тостиг мог сказать то, что мысленно говорил себе Вильгельм норманнский: «Дети мои будут потомками Карла Великого и Альфреда».

Годвин был слишком занят государственными делами и политическими планами, чтоб обращать внимание на воспитание сыновей, а жена его. Гита, женщина благородная, но вполне не развитая и, вдобавок, наследовавшая неукротимый нрав и гордость своих предков, морских королей, могла скорее раздуть в них пламя их честолюбия, чем укротить их смелый и непокорный дух.

Мы знаем судьбу Свена, но Свен был ангелом в сравнении с Тостигом. Кто способен к раскаянию, в том кроются еще возвышенные чувства. Тостиг же был свиреп и вероломен, он не имел ума и дарований братьев, но был честолюбивее, чем все они вместе взятые.

Мелочное тщеславие возбуждало в нем ненасытную жажду власти и славы. Он завивал по обычаю предков свои длинные волосы и ходил разодетым, как жених, на пиры.

Две только личности из семейства Годвина занимались науками, пользу которых начинали в то время признавать короли. Это были: Юдифь, нежный цветок, увядший во дворце Эдуарда, и ее брат Гарольд.

Однако ум Гарольда, ум почти гениальный практический, пытливый, чуждался всей поэзии, нераздельной с язычеством, благодаря которой его сестра сносила свои земные скорби.

Сам Годвин не жаловал языческих жрецов. Он слишком хорошо видел злоупотребления их, чтобы внушать своим детям уважение к ним. Такой же образ мыслей, плод житейского опыта, был в Гарольде плодом учения и мышления.

Писатели классической древности дали молодому саксонцу понятия об обязанностях и ответственности человека, далеко не похожие на те, которым учили невежественные друиды. Он презрительно улыбался, когда какой-нибудь датчанин, проводивший жизнь в пьянстве и открытом разврате, думал отворить себе врата Валгаллы, завещая жрецам владения, завоеванные разбоем и насилием. Если бы жрецы вздумали порицать действия Гарольда, он ответил бы им, что не людям, закоснелым в невежестве, судить людей развитых. Он отвергал все грубые суеверия века и в классиках искал учения об обязанностях гражданина и человека. Любовь к родине, стремление к справедливости, твердость в несчастье и смирение в счастье были его отличительными качествами. Гарольд не принимал, по примеру отца, личины тех свойств, которые приобрели ему народную любовь. Он был ко всем приветлив, но всегда справедлив, не потому, что этого требовала политика, а потому, что он не мог поступать иначе.

Впрочем, как ни прекрасна была душа Гарольда, она имела тоже порядочную долю человеческих слабостей, и они заключались в его самонадеянности, результате сознания своих сил. Хоть он веровал в Бога, но упускал из виду те таинственные звенья, которые соединяют человека с Творцом, сплетаются равным образом из простодушия детства и мудрости старости.

Хотя, в случае нужды, Гарольд был храбр, как лев, храбрость не составляла отличительной черты его характера. Он презирал зверскую смелость Тостига, чуждаясь в душе кровопролития. Он мог казаться робким, когда смелость вызывалась одним пустым тщеславием. Но когда эту смелость предписывал долг, никакие опасности не могли утратить и никакие хитрости отуманить его. Тогда он казался отважным и свирепым. Неизбежным последствием особенного истинно английского характера Гарольда было то обстоятельство, что действия его отличались скорее терпением и упорством, чем быстротой и сметливостью.

В опасностях, с которыми он уже успел освоиться, ничто не могло состязаться с ним в твердости и чрезвычайной ловкости, но когда его застигли врасплох, его было нетрудно вовлечь в крупные промахи. Обширный ум отличается редко быстрым соображением, если необходимость быть всегда настороже и природная подозрительность не развили в нем бдительности. Нельзя вообразить сердца более доверчивого, честного и прямого, чем было сердце графа. Сообразив все эти свойства, мы получим ключ к образу действий Гарольда в позднейших обстоятельствах его бурной и трагической жизни.

Но мы не должны думать, чтобы Гарольд, откинув суеверие одного из сословий, стоял настолько выше своего века, чтобы откинуть их все. Какой искатель славы, какой человек, вступающий в борьбу со светом и с людьми, может откинуть верование в невидимую силу? Цезарь мог смеяться над мистическими обрядами римского многобожия, но он веровал в судьбу. Гарольд узнал от классиков, что самые независимые и смелые умы древности не могли отрешиться от доли фатализма. Хотя он отвергал силу гаданий Хильды, в его ушах звучали ее таинственные предсказания, слышанные им в детстве. Вера в приметы, знамения, легкие и тяжелые дни и влияние созвездий была присуща всем сословиям его племени. У Гарольда был также свой счастливый день четырнадцатое октября. Он верил в его силу, как Кромвель верил в силу третьего сентября. Мы описали Гарольда, каким он был в начале его поприща. В то блаженное время еще не примешивалось никакого эгоистического честолюбия к свойственному мудрости стремлению стяжать себе могущество. Его любовь к отечеству, развитая на примерах римских и греческих героев, была чиста и искренна. Он был способен обречь себя на смерть, как сделал Леонид или бесстрашный Курций.

Глава II

Пробудившись от томительного сна, Гарольд увидел перед собой Хильду, смотревшую на него своим величественно-спокойным взором.

– Не видел ли ты какой-нибудь пророческий сон, сын Годвина? – спросила она.

– Сохрани меня, Воден! – ответил молодой граф с несвойственным ему смирением.

– Расскажи же мне свой сон – и я разгадаю его. Сновидениями никогда не должно пренебрегать. Подумав немного, Гарольд проговорил:

– Мне кажется, Хильда, что я и сам могу объяснить себе свои сны.

Он приподнялся на постели и спросил, взглянув на хозяйку:

– Скажи по правде, Хильда, не ты ли велела ночью осветить курган и могильный камень возле храма друидов?

Если Гарольд верил, что вчера поддался на минуту обману зрения, то эта уверенность должна была исчезнуть при виде боязливого, напряженного выражения, которое мгновенно явилось на лице Хильды.

– Так ты видел свет над склепом усопшего героя? Не походил ли этот свет на колеблющееся пламя?

– Да, походил.

– Ни одна человеческая рука не может возжечь это пламя, предвещающее присутствие усопшего, – сказала Хильда дрожащим голосом. – Но это привидение редко показывается, не быв вызванным имеющими над ним власть.

– Какой вид принимает это привидение?

– Оно является посреди пламени в виде гиганта, вооруженного, подобно сыновьям Ведена, секирой, копьем и щитом... Да, ты видел привидение усопшего, лежащего в этом склепе, Гарольд, – добавила она, взглянув на него пылливо.

– Если ты меня не обманываешь, – возразил с недоумением граф...

– Обманывать тебя?.. Я не смею шутить могуществом мертвых, если б даже могла этим спасти саксонскую корону. Разве ты еще не знаешь, или не хочешь знать, что древние герои погребались вместе со своими сокровищами и что над могилами их иногда показывается в ночное время тень усопшего, окруженная ярким пламенем? Их часто видели в то время, когда и живые и усопшие были одной веры. Теперь же они показываются только в исключительных случаях, как вестник определения рока: слава или горе тому смертному, которому они предстают! На этом холме похоронен Эск, старший сын Сердика, родоначальника саксонских королей. Он был бичом для бриттов и пал в бою. Его похоронили с оружием и всеми его сокровищами. Саксонскому государству угрожает бедствие, если Воден заставляет своего сына выйти из могилы.

Хильда, очевидно сильно взволнованная, опустила голову и пробормотала какие-то бессвязные слова, смысл которых был недоступен Гарольду. Потом она снова обратилась к нему и проговорила повелительным тоном;

– Расскажи мне свой сон. Я уверена, что в нем предсказана вся твоя судьба.

– Видел я, – начал Гарольд, – будто нахожусь в ясный день на обширной поляне. Все услаждало мои взоры и сердце. Я радостно шел один по этой поляне. Но вдруг земля разверзлась под моими ногами, и я упал в глубокую неизмеримую бездну. Оглушенный падением, я лежал неподвижно. Когда я, наконец, открыл глаза, то увидел себя окруженным мертвыми костями, которые кружились подобно сухим листьям, при порывистом ветре. Из среды их выделялся череп, украшенный митрой, а из этого черепа мне послышался голос: «Гарольд неверующий, ты теперь принадлежишь нам!» «Ты наш!» – повторила за ним целая рать духов. Я хотел встать, но тут только заметил, что связан по рукам и ногам. Узы, обременявшие меня,

были тонки как паутина, но крепки как железо. Мной овладел неописанный ужас, к которому примешивался и стыд за свою слабость. Подул холодный ветер, заставивший умолкнуть раздававшиеся голоса и прекративший пляску костей. А череп в митре все скалил на меня зубы, между тем как из впадин глаз его высовывалось острое жало змеи. Внезапно предо мной предстало привидение, которое я ночью видел на холме... О, Хильда, я как будто сейчас вижу его!.. Оно было в полном вооружении, и бледное лицо его смотрело на меня строго и сурово. Протянув руку, оно ударило своей секирой о щит, издавший глухой звук. Вслед за тем с меня спали оковы, я вскочил на ноги и стал бесстрашно возле привидения. Вместо митры появился на черепе шлем, и сам череп сразу преобразился в настоящего бога войны. Шлем его достигал тверди небесной, и фигура его была так велика, что заграждала солнце. Земля превратилась в океан крови, глубокий, подобно северному океану, но он не достигал до колен гиганта. Со всех сторон начали слетаться вороны и хищные ястребы, а мертвые кости вдруг получили жизнь и форму: один из них превратился в жрецов, другие – в вооруженных воинов. И вот поднялся свист, рев, гам и шум, и раздались звуки оружия. Затем из океана выплыло широкое знамя, а из облаков показалась чья-то бледная рука, которая начертала на знамени следующие слова:

«Гарольд проклят!» Тогда мрачный призрак, стоявший возле меня, спросил: «Неужели ты боишься мертвых костей, Гарольд?» Голос его звучал как труба, вливающая мужество даже в труса, и я смело ответил: «Достоин презрения был бы Гарольд, если б он боялся мертвых костей!» Пока я говорил, послышался адский хохот и вдруг все исчезло, исключая океана крови. Со стороны севера подлетал ворон кровавого цвета, а с южной стороны подплывал ко мне лев. Я взглянул на воина и невольно расплакался, заметив, что суровость его уступила место беспредельной тоске. И вот он принял меня в свои холодные объятия. Холодное дыхание его леденило мне кровь. Поцеловав меня, он сказал тихо и нежно: «Гарольд, мой любимец, не печалься! Ты имеешь все то, о чем только мечтали сыновья Ведена в своих снах о Валгалле.» При этих словах привидение отступало от меня все дальше и дальше, не переставая смотреть на меня печальными глазами. Я протянул руку, чтобы удержать его, но в руке моей очутился только неосязаемый скипетр. Внезапно меня окружили многочисленные таны и предводители, появился роскошно накрытый стол, и начался пир на славу. Сердце мое снова забилось свободно, а в моей руке все еще находился таинственный скипетр. Долго пировали мы, но вот закружился над нами красный ворон, и лев подплывал все ближе к нам. Потом на небе зажглись две звезды: одна сияла бледным светом, но стояла твердо на своем месте, другая же светила ярко, зато колебалась из стороны в сторону. Из облаков снова показалась таинственная рука, указала на тусклую звезду, и голос сказал: «Вот, Гарольд, звезда, озарившая твое рождение.» Другая рука указала на яркую звезду, и другой голос сказал: «Вот звезда, озарившая рождение победителя.» Потом яркая звезда увеличилась в объеме и стала гореть все ярче и ярче... со страшным шипением пролетела она через бледную звезду, а небо как бы сплошь покрылось огнем... Тут это странное видение стало исчезать, и в то же время в моих ушах зазвучало торжественное пение, похожее на божественный гимн, который я слышал только раз в жизни, а именно – в день коронации короля Эдуарда!

Гарольд замолк. Пророчица подняла свесившуюся на грудь голову и долго смотрела на него мрачным, ничего не выражающим взором.

– Почему ты так пристально смотришь на меня и не говоришь ни слова? спросил молодой граф.

– Тяжело у меня на душе, и я теперь не в силах разгадать этот сон, пробормотала Хильда. – Утро, пробуждающее человека к новой жизни и деятельности, усыпляет жизнь мысли. Подобно тому, как звезды меркнут при восходе солнца, так угасает и свет души при первых звуках песни пробудившегося жаворонка. Сон, виденный тобой, предрек твою судьбу,

но какова она – я этого не знаю. Жди же теперь минуты, когда Скульда сойдет в душу своей рабы. Тогда слова будут литься из моих уст с быстротой бегущего с горы потока...

– Я буду ждать, – ответил Гарольд со спокойной улыбкой. – Только не обещаю верить твоему откровению.

Пророчица глубоко вздохнула, но не промолвила больше ни одного слова.

Глава III

Гита, жена графа Годвина, сидела печально в своей комнате. Тут же сидел Вольнот, любимец ее. Остальные сыновья ее имели крепкое телосложение, и матери никогда не приходилось особенно заботиться о них, даже во время их детства. Но Вольнот явился на свет раньше времени, и оба – мать и новорожденный – долго находились между жизнью и смертью. Сколько горьких слез пролила она над его колыбелью! В младенчестве он был таким хрупким и нежным, что мать должна была заботиться о нем и день и ночь, а теперь, когда он стал довольно бодрым юношей, она привязалась к нему еще сильнее. При виде его, такого прекрасного, веселого и полного надежд, Гита гораздо больше жалела о нем, чем об изгнанном Свене: ведь, Вольнота вырывали из ее объятий, чтобы отослать в качестве заложника ко двору Вильгельма норманнского. А юноша весело улыбался и выбирал себе роскошные одежды и оружие, чтобы похвастаться ими перед норманнскими рыцарями и красавицами. Он был еще слишком молод и беспечен, чтобы разделять ненависть старших к иностранным нравам и обычаям. Блеск и роскошь норманнов ослепляли его, и он радовался, что его отсылают к Вильгельму, вместо того чтобы жалеть о своей родине и об оставляемых им родных.

Возле Вольнота стояла младшая сестра его, Тира, милый, невинный ребенок, разделявший вполне его восторг, что еще более печалило Гиту.

– Сын мой! – говорила мать дрожащим голосом.

Зачем они из всех моих сыновей избрали именно тебя? Гарольд одарен разумом против опасностей. Тостиг смел против врагов. Гурт так кроток и полон любви ко всем, что ничья рука не поднимется на него, а от беспечного веселого Леофвайна всякое горе отскочит, как стрела от щита. Но ты, мой дорогой мальчик!.. да будет проклят Эдуард, избравший тебя!.. Безжалостен отец, если он мог допустить, чтобы у матери отняли единственную радость... жизни ее.

– Ах, мама, зачем ты это говоришь? – ответил Вольнот, рассматривая шелковую тунику. Это был подарок королевы Юдифи. – Оперившаяся птица не должна нежиться в гнезде. Гарольд – орел, Тостиг – ястреб, Гурт – голубь, Леофвайн – скворец, а я – павлин... Увидишь, дорогая мама, как пышно распустит твой павлин свои красивые крылья!

Замечая, что шутка его не произвела желаемого действия на мать, он приблизился к ней и сказал серьезнее:

– Ты только подумай, мама: ведь королю и отцу не оставалось другого выбора. Гарольд, Тостиг и Леофвайн занимают должности и имеют свои графства. Они к тому же опоры нашего дома. Гурт так молод, такой истый саксонец, так горячо привязан к Гарольду, что ненависть его к норманнам вошла просто в пословицу; ненависть кротких людей заметнее, чем злых... Мной же – и это хорошо известно нашему доброму королю – все будут довольны: норманнские рыцари очень любят Вольнота. Я целыми часами сидел на коленях Монтгомери и Гранмениля, играл их золотыми рыцарскими цепями и слушал рассказы о подвигах Роллы. Прекрасный герцог сделает и меня рыцарем, и я вернусь к тебе с золотыми шпорами, которые носили твои предки, неустрашимые короли норвежские и датские, когда еще не знали рыцарства... Поцелуй меня, милая мама, и полюбуйся на прелестных соколов, присланных мне Гарольдом!

Гита прислонилась головой к плечу сына, и слезы ее хлынули рекой. Дверь тихо отворилась, и в комнату вошел Гарольд в сопровождении Гакона, сына Свена.

Но Гита почти не обратила внимания на внука, воспитанного вдали от нее, а кинулась прямо к Гарольду. В его присутствии она чувствовала себя более твердой и спокойной: Вольнот покоился на ее сердце, а оно опиралось на сердце Гарольда.

– Милый сын, – сказала она. – Я верю тебе, потому что ты самый мудрый, твердый и верный из всего нашего дома... Скажи же мне: не подвергнется ли Вольнот какой-нибудь опасности при дворе Вильгельма норманнского?

– Он будет там так же безопасен, как и здесь, матушка, – ответил Гарольд ласково. – Жесток, говорят, Вильгельм норманнский только к вооруженным врагам, И притом у норманнов есть свой закон, связывающий их больше религии, и этот закон, называемый ими законом чести, делает голову Вольнота священной для них. Когда ты увидишь Вильгельма, брат мой, то потребуй от него поцелуй мира¹⁴

¹⁴ Этот поцелуй считался священным у норманнов и остальных рыцарей континента. Даже самый отпетый лицемер, думавший только об измене и убийствах, никогда не осмеливался употребить его во зло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.